

литературно-публицистический журнал

# СИОН

ИЗДАЕТСЯ  
С 1972 ГОДА



БРЮССЕЛЬ II  
ДЕКЛАРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ  
ВИКТОР ПОЛЬСКИЙ

ЕЖИ АНДЖЕЕВСКИЙ. СТРАСТНАЯ  
НЕДЕЛЯ

ЮЛИЙ МАРГОЛИН. ГАЛЯ  
ЦВИ ЛУЗ. БРАТЬЯ

ИЛЬЯ РУБИН. РУССКОЯЗЫЧНАЯ  
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И АЛИЯ  
ШИМОН МАРКИШ. НЕ ЗАЖМУРИВАЯСЬ

Н.АЛЬШАНСКИЙ. ПАМЯТИ ЕФИМА  
ДАВИДОВИЧА

ПИСЬМА УЗНИКОВ СИОНА  
И.ВОЙТОВЕЦКИЙ. ТЕЗКА  
БРИТАНСКОЙ КОРОЛЕВЫ

АМИК ДИАМАНТ. КАМО ГРЯДЕШИ?  
И.ДАН. БУДЕТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ  
ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД В ХХ1 ВЕКЕ

ГЕРЦЕЛЬ БААЗОВ. ПЕТХАИН  
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ  
ДЕПУТАТОМ ДУМЫ

14  
1976

**СОДЕРЖАНИЕ****БРЮССЕЛЬ II**

|  |    |
|--|----|
| ДЕКЛАРАЦИЯ . . . . .   | 3  |
| ОБРАЩЕНИЕ советских евреев . . . . .                             | 6  |
| ЛЕОНИД РАЙНЕС. Обращение к Брюссельской<br>конференции . . . . . | 10 |
| ОБРАЩЕНИЕ родственников узников Сиона . . . . .                  | 11 |
| АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. По ту сторону успеха . . . . .               | 13 |
| ПРИЗЫВ христианских деятелей . . . . .                           | 22 |
| ВИКТОР ПОЛЬСКИЙ. Раздумья об алии . . . . .                      | 24 |
| МЕМОРАНДУМ русских сионистов . . . . .                           | 30 |

**ПРОЗА**

|  |     |
|--|-----|
| ЕЖИ АНДЖЕЕВСКИЙ. Страстная неделя. Роман. Перевод<br>с польского . . . . . | 40  |
| ЮЛИЙ МАРГОЛИН. Галя. Рассказ . . . . .                                     | 78  |
| ЦВИ ЛУЗ. Братья. Рассказ. Перевод с иврита . . . . .                       | 93  |
| СИМОН МАРКИШ. Не жажмуриваясь . . . . .                                    | 103 |

**НАША ЗЕМЛЯ**

|  |     |
|--|-----|
| ИОСЕФ ДАН. Будет ли существовать еврейский народ в<br>XXI веке . . . . . | 131 |
| АМИК ДИАМАНТ. Камо грядеши? . . . . .                                    | 139 |
| ИЛЬЯ РУБИН. Русскоязычная книжная культура и алия . . . . .              | 150 |

**ИСХОД**

|   |     |
|---|-----|
| НАУМ АЛЬШАНСКИЙ. Памяти Ефима Давидовича . . . . .    | 160 |
| ПИСЬМА УЗНИКОВ СИОНА . . . . .                        | 163 |
| ИЛЬЯ ВОЙТОВЕЦКИЙ. Тетка британской королевы . . . . . | 169 |

**К ЮБИЛЕЮ ДАВИДА И ГЕРЦЕЛЯ БААЗОВЫХ**

|  |     |
|--|-----|
| ГЕРЦЕЛЬ БААЗОВ. Петхаин. Главы из романа. Перевод<br>с грузинского . . . . . | 189 |
|--|-----|

**К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА**

|   |     |
|---|-----|
| А. БЕЛОВ. "Неблагонадежный" классик . . . . .                           | 209 |
| ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Если бы я был депутатом Думы.<br>Перевод с идиш. . . . . | 212 |

**КОРОТКО О КНИГАХ**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Новый перевод Торы на русский язык | 218 |
|------------------------------------|-----|



Издатель: Координационный комитет активистов алии из  
Советского Союза

Редакционная коллегия: В. Богуславский, А. Воронель,  
И. Гольденберг, Э. Диамант, М. Занд, А. Лев-Ран, Р. Нудельман,  
А. Фельдман (ответственный редактор), И. Якоби.

Главный редактор Д. Маркиш.

Адрес редакции: Тель-Авив, ул. Хисин, 4а, под. Б, кв. 8  
тел. 299832, 299942



Все права на литературные материалы, опубликованные в журнале  
"Сион", принадлежат авторам.

# БРЮССЕЛЬ-II

☉17–19 февраля 1976 года в Брюсселе состоялась Вторая Всемирная Конференция еврейских общин в поддержку советского еврейства. В работе конференции приняли участие 1500 делегатов из 30 стран.

На заседаниях конференции с яркими речами выступили Голда Меир, сенатор Франк Черч, писатель Эли Визель, негритянский общественный деятель Байярд Распин, лидер израильской оппозиции Менахем Бегин и др.

На заседаниях пяти рабочих подкомитетов и трех комиссий были всесторонне обсуждены различные аспекты борьбы в поддержку советского еврейства — освобождение узников Сиона, выпуск отказников, реализация законного права советских евреев на воссоединение со своей исторической Родиной — Государством Израиль — и приняты практические рекомендации по усилению и координации соответствующей деятельности.

На заключительном заседании конференция торжественно приняла Декларацию, зачитанную на пяти языках.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Второй Всемирной Конференции еврейских общин в поддержку советского еврейства, Брюссель, 19 февраля 1976 г.

Мы, делегаты еврейских общин всех континентов, собравшиеся на эту Вторую Брюссельскую Конференцию в защиту советского еврейства, обращаемся к нашим друзьям в Советском Союзе:

Мы с вами в вашей борьбе! Мы разделяем вашу веру. Мы чтим вашу доблесть. Вы не одиноки!

Мы с вами боремся за общее будущее, разделяем общий жизненный опыт, нами движут общие воспоминания. Связывающая нас еврейская судьба едина и неделима, наша общая еврейская традиция неуничтожима.

Мы приветствуем тех людей разных стран, рас и религий — государственных деятелей, парламентариев, деятелей науки, юриспруденции, просвещения, искусства, профсоюзов, торговли и промышленности, которые присоединились к нам в поддержке евреев СССР.

Мы призываем всех людей доброй воли, все правительства, которым дороги идеалы гуманизма, выступить в поддержку евреев СССР. Мы сознаем свое право и долг напомнить им, спустя поколение после катастрофы, что нельзя молчать перед лицом возродившейся опасности, нависшей над еврейским народом. История учит нас, что подобная опасность таит в себе угрозу правам человека во всем мире.

Мы клеймим позором и осуждаем антисемитизм в Советском Союзе, выступает ли он в виде предвзятого отношения к еврейской религии или же лживых обвинений в адрес Израиля и сионизма.

Мы заявляем, что сравнение сионизма с расизмом, принятое на вооружение правительством Советского Союза и некоторых других стран, является клеветой на Израиль и все мировое еврейство. Те, кто в своих корыстных интересах использует это надругательство над истиной, помогает и способствует врагам свободы, мира, справедливости и человеческого братства.

Мы заявляем, что еврейский народ, черпающий неизмеримую силу и уверенность в существовании своего национального государства, сумеет противостоять тем и победить тех, кто пытается помешать осуществлению его законных чаяний.

Мы заслушали послания наших братьев из Советского Союза, заявивших о своей решимости иммигрировать в Израиль вслед за ста тысячами советских евреев, уже осуществивших свою мечту о возвращении в еврейское государство.

Мы выражаем свою веру и гордость их стойкостью — этим новым проявлением глубины еврейского национального духа.

Мы заслушали заявление и выступления представителей

еврейских общин всего мира. Они свидетельствуют о том, что никогда еще еврейский народ не был так сплочен и солидарен с евреями СССР и Израиля, где столь значительная часть мирового еврейства стремится в настоящее время обрести свободу и осуществление своего еврейского "я".

Исходя из этого:

сегодня, в канун завершения Второй Брюссельской Конференции, мы призываем правительство Советского Союза:

- уважать свою конституцию и свои законы, соблюдать свои обязательства, сформулированные в международных декларациях и соглашениях о правах человека и его основных свободах, придерживаться положений заключительного акта Хельсинкского Совещания по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе;

- признавать и уважать права евреев СССР на воссоединение со своими братьями в Эрец Исраэль на их исторической Родине;

- устранить все препятствия на пути желающих эмигрировать и воздерживаться от всяких угроз и запугиваний в их адрес;

- освободить всех Асирей Цион – узников совести, заточенных в тюрьмы за их борьбу за возвращение в Сион;

- признать и уважать свободное право наших советских собратьев исповедовать и соблюдать свою религию, использовать и развивать свое культурное наследие и национальный язык;

- прекратить антисемитскую кампанию и дискриминацию евреев;

- разрешить евреям Советского Союза установить и поддерживать связи со всем остальным еврейством.

В этот исторический час мы вспоминаем древнюю клятву нашего народа: "Во имя Сиона я не буду молчать и во имя Иерусалима я не успокоюсь".

Как наследники этой традиции, мы, представители еврейского народа, торжественно заявляем: "Во имя наших братьев в Советском Союзе мы не будем молчать и во имя их свободы мы не успокоимся".

*Важной чертой, отличавшей Вторую Брюссельскую Конференцию от Первой, состоявшейся в 1971 г. и собравшей 700 делегатов, было участие в работе Второй конференции трех новых групп делегатов: репатриантов из СССР; американских политических деятелей; христиан из США и Западной Европы. Наличие каждой из этих групп знаменовало растущий успех и международный размах борьбы мирового еврейства в поддержку евреев СССР.*

*Репатрианты из СССР. На Брюссельской конференции большая группа олим из СССР, явившаяся на первое пленарное заседание, была вдвойне символична. Она символизировала собой те сто тысяч советских евреев, которые уже совершили великий исход из СССР, и одновременно — те десятки тысяч евреев СССР, которые в настоящее время получили вызовы для воссоединения со своими родственниками в Израиле. От имени этих ста тысяч к конференции обратились отказники многих городов Советского Союза, выразившие свою готовность до конца бороться за свободу алии и возрождение еврейского национального самосознания в СССР.*

## **ВТОРОЙ ВСЕМИРНОЙ БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЗАЩИТУ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ**

### **ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!**

**Мы приветствуем вас из далекой России. Пять лет назад вы собрались, чтобы поддержать и отстоять массовую советскую алию. Мы с глубокой признательностью вспоминаем сегодня, что ваши усилия помогли более чем ста тысячам советских евреев воссоединиться со своей исторической родиной. Мы надеемся, что и ваш нынешний высокий форум сыграет важную роль в судьбах советского еврейства.**

**Наша надежда подкреплена сознанием, что все мы — один народ и одна судьба. Но мы сознаем также, что мы существуем**

как народ лишь постольку, поскольку мы хотим им быть. Мы ежедневно творим себя как нацию, поскольку мы ежедневно выбираем быть и оставаться евреями. Необходимость такого выбора с неизбежностью судьбы вставала перед каждым поколением евреев и формировала еврейский национальный характер. Только этот выбор сохранил наш народ в веках. Сегодня эта необходимость встала перед "молчаливым" поколением советских евреев. Сегодня от выбора каждого отдельного советского еврея зависит, будет ли завтра мировое еврейство насчитывать пятнадцать миллионов человек или потеряет еще два с половиной миллиона своих единомышленников. Мы понимаем, что такая потеря по своим последствиям сравнима лишь с гибелью шести миллионов наших братьев в гитлеровских лагерях смерти.

Нынешнее поколение советских евреев никогда ранее не стояло перед необходимостью сознательного национального выбора. Оно выросло ассимилированным не по своей воле. То был выбор отцов, которые в навязанной им ассимиляции увидели путь к социальному и культурному прогрессу, к выходу из черты оседлости, к реализации извечного еврейского универсализма. Движимым этой надеждой, им пришлось согласиться с продиктованными им условиями, они позволили отнять у себя и своих детей национальный язык, воспитание, традиции и культуру. Но их надежды оказались иллюзорными. Этот выбор оказался роковой ошибкой. Мы утверждаем это не потому, что, заново осознав себя евреями, хотим навязать свой выбор другим. Наши слова подтверждаются итогами всей шестидесятилетней истории советского еврейства — возрождением антисемитизма и дискриминации, которые на протяжении последних тридцати лет остаются официальными нормами советской идеологии и внутренней политики, начавшимся социальным и культурным регрессом ассимилированного советского еврейства, его продолжающимся национальным бесправием и унижением. Наши отцы готовы были забыть, что они евреи, в надежде, что это забудут и другие. Но этого не забыли и не простили через 30 лет, когда припомнили им их еврейских предков — а их вклад в советскую науку и культуру, и кровь,



пролитую на фронтах Отечественной войны, — забыли. Можем ли мы надеяться, что следующему поколению не грозят космополитические кампании, дело врачей, расстрел еврейской интеллигенции, ленинградский процесс, судьба узников Сиона? Чем защищены они от еще более страшных национальных трагедий? Вот почему мы с полным сознанием ответственности заявляем, что ассимиляция не стала и не могла стать решением еврейского вопроса в СССР. Отказавшись от своих прежних национальных ценностей, ассимилированное советское еврейство не создало новых, а взятые от чужих — не принесли ему ничего, кроме горя, унижений и стыда. Путь ассимиляции, навязанный нам, привел наше поколение в тупик.

Вот почему ситуация советского еврейства стала сегодня критичной. В нем зреет сознание неизбежности коренного решения. К этому его все бескомпромисснее толкает усиливающаяся дискриминация, растущий антисемитизм и все более ясное сознание отсутствия будущего с одной стороны, и наличие реальной возможности выбора — с другой. Понятно, что существование алии сыграло и продолжает играть огромную роль в этом пробуждении советского ассимилированного еврейства. Но одно лишь существование алии не способно вывести его из тупика разочарования, сомнения и страха. Сегодня, когда ассимилированное советское еврейство вплотную подошло к порогу алии, его сомнения и колебания, порожденные отсутствием национальных корней, естественно затрудняет ему выбор. Некоторое замедление темпов алии, вызванных репрессиями, не означает исчерпание ее резервов. Напротив, теперь перед выбором стоят не десятки, а сотни тысяч. Но сам вопрос стоит теперь шире и радикальней: постепенное растворение в чужой среде — или национальное возрождение. Только национальное возрождение гарантирует как массовую алию, так и само существование советского еврейства.

Поэтому мы считаем главной задачей объединение их усилий, направленных на защиту и поддержку алии, с всесторонней помощью национальному возрождению советского еврейства.

Все наши скромные силы мы отдаем сейчас решению этих задач. Мы призываем вас помочь нам в этом самом важном сегодня деле.

Судьба сделала нас отказниками, обрекла на мучительное долготейшее ожидание, лишения и опасности. Но мы благодарны ей за то, что она позволила нам быть с нашим народом в эти годы, когда в нем зреет неизбежность исторических перемен, позволила нам понять его трагедию и его нужды и послужить его сохранению и возрождению. Если нам суждено отдать этому всю свою жизнь — мы готовы.

ШАХНОВСКИЙ, Э.ЗЕЙМАН, В.ВАГНЕР, НОВИКОВ, ГВИНТЕР, Э.ФИН-  
КЕЛЬШТЕЙН, ХАИТ, АЛЬБЕР БРАЙЛОВСКИЙ, ПРЕСТИН, ЭССАС,  
П.АБРАМОВИЧ, ФАЙН, АЗБЕЛЬ, КОШАРОВСКИЙ, ЛАЗАРИС, ШЕЙН-  
МАН, БЕГУН, РАММ, НУДЕЛЬ, КОШЕВОЙ, БОГОМОЛЬНЫЙ, ЛУНЦ,  
ЛЕРНЕР, СЛЕПАК, ЩАРАНСКИЙ, БЕЛИНА, И.БЕЙЛИН, В.РУБИН,  
ЛЕВИНАЙТЕ, ОСПОВАТ, О.КОРНИЛОВА, М.ШЕПЕЛЕВ, Р.ЯКИР, Л.ЩЕ-  
БЕЛЕВ, И.РУБИН, ЛЕВИЧ, ВИГДАРОВ, Л.ГЕНДИН, ТОЛЧИНСКИЙ,  
Г.ТОКЕР, П.КРИВОНОС, В.ФУРМАН, ДРУК, С.ЛИБЕРМАН, МИКУЛИН-  
СКИЙ, ИНДИЦКИЙ, А.ГУРЕВИЧ, КАНДЕЛЬ, Ф.ДЕКТОР, ЛАПИДУС,  
Б.РАБОТ, Е.ЛЕБЕДИНА, Э.ТРИФОНОВ. **МОСКВА**

ВЕНЕЛЕВСКИЙ, БИРМАН, ТАРАТУТА, АБЕЗГАУС, ЛУЦКАЯ, СТРУ-  
ГАЧ, ГОЛЬДИН, ГОМАН, Б.КРУМГАЙС, ШЕСТАКОВСКИЙ, ЯМПОЛЬ-  
СКИЙ, А.ЧЕРТИН, Ф.АРОНОВИЧ. **ЛЕНИНГРАД**

АБРАМОВИЧ МАРК, ФАНЯ, ЕФИМ, СВЕТЛАНА, АВЕРБУХ, ЛЕОНИД  
И КЛАРА ВАЙНШТЕЙН, ИСААК ГОФМАН, МАРАНЦЕНБОЙМ,  
Л СПЕКТОР, ЯКОВ И ЛИЛИЯ ШВАРЦМАН, ЯН ШНАЙДЕР, ЮЛИЙ  
И ЛАРИСА ШИХМАН, ШТАРКМАН АНАТОЛИЙ И МАЯ, ЯКУБОВИЧ  
ЛЕОНИД И ЛАРИСА. **КИШИНЕВ**

ФРИДМАН, КИСЛИК, ЦАЦКИС, ЗЛОБИНСКИЙ. **КИЕВ**

ДАВИДОВИЧ, ОВСИЩЕР, ХЕСС, БАРШАЙ ВАДИМ. **МИНСК**

ЛЕМБЕРГ, ЗАБРОДСКАЯ, ГОРКИН ЯКОВ, КАМИНСКИЙ, ФРЕН-  
КЕЛЬ БОРИС, ФРУМКИН ЦВИ, ШУР ХАНАН. **РИГА**

ГОЛЬДШТЕЙН ИСАИ И ГРИГОРИЙ, БЫКОВА ЕЛИЗАВЕТА. **ТБИЛИСИ**

МАГЕР, БРЕГМАН, ШТЕРН ИДА, ВЫХОВИЧ БОРИС. **ВИННИЦА**

АДАМСКИЙ, РАЙЗ, КЛЕЙН, ЗИСЕЛЬБОЙМ, КИСЛЮК. **ВИЛЬНЮС**

ГИРШАС. **КАУНАС**

ЛЕХТМАН, КИШИНЕВСКАЯ. **БЕЛЬЦЫ**

ЛЕВИНЗОН ЮЛИЯ. **БЕНДЕРЫ**

ЛЕНЧИК, БРОНФМАН. **ОДЕССА**

Леонид Райнес

## ОБРАЩЕНИЕ К БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Прошло 5 лет со времени Первой Брюссельской конференции. Пять лет — не слишком большой срок в сравнении с многовековой историей нашего народа. С другой стороны, менее, чем за 5 лет, наш народ потерял 6 миллионов своих сыновей, уничтоженных только за то, что они были евреями. Евреи ответили на Катастрофу созданием государства Израиль. Но Израиль — это не только памятник погибшим. Его существование кладет конец всем сомнениям, которые евреи питали в отношении будущего, не говоря уже о прошлом. Вот почему главное, о чем обязан думать каждый еврей, где бы он ни жил, — это укрепление Израиля.

В течение столетий евреям приходилось переходить из одной страны в другую, нигде не чувствуя себя дома. Что было причиной этих странствий? Какая сила заставляла людей покидать места, где родились и умерли многие поколения их предков? Ответ очевиден: этой движущей силой был антисемитизм. Именно он был основной причиной всех массовых переселений за исключением последнего — переселения из Советского Союза, которое началось 5 лет назад. В этом последнем случае возникновение Израиля прозвучало, как призыв принять участие в возрождении еврейского народа на его исторической родине.

Известно, что всегда находи-

лись евреи, желавшие эмигрировать в Израиль, но известно также, что они были лишены возможности сделать это в силу многих препятствий, встававших на их пути. После Шестидневной войны количество людей, стремящихся в Израиль, возросло столь значительно, что возникло массовое движение. Нет, нельзя сказать, что все препятствия исчезли. Но сделалось невозможным держать двери закрытыми, и более 100 тысяч советских евреев получили выездные визы. Это большая победа, которая стала возможной благодаря активности советских евреев, стремившихся в Израиль, благодаря активности зарубежных еврейских организаций, государственных деятелей и простых людей различных стран, поднявшихся на защиту прав евреев вернуться на свою историческую родину. Но прежде всего это стало вероятным благодаря тому, что народ Израиля продемонстрировал всему миру свою жизнеспособность.

Для нас вопрос "оставлять или оставаться?" имеет особое значение, поскольку он тесно связан с другим, настойчиво требующим ответа, вопросом: "Хочу я быть евреем или хочу ассимилироваться?" Я не намерен даже пытаться отвечать на вопрос: "Почему советские евреи не могут жить своей собственной национальной жизнью?" Этот вопрос должен быть адресован со-

ветским властям. Несомненно, однако, что мы лишены всякой возможности объяснить нашим детям смысл слова "еврей". И вряд ли кто-нибудь, включая и советских официальных лиц, будет оспаривать, что лишение права на национальную жизнь ведет к насильственной ассимиляции. Мы знаем ответ на этот вопрос — это эмиграция в Израиль.

Сегодня слово "отказник" стало общеизвестным и не нуждается в разъяснении. За этим словом стоят люди, которые день за днем, год за годом живут без всякой уверенности в своем будущем, которые не могут понять истинные причины отказа, которые теряют свою профессиональную квалификацию. За этим словом стоят так же и те, кто не может решиться подать заявление о выезде, опасаясь стать "отказником", опасаясь, потому что отсутствие гласных законов делает невозможным предвидеть ответ властей и продолжительность ожиданий в случае отказа. "Институт отказников" стал самым серьезным препятствием на пути еврейской иммиграции.

Часто приходится слышать,

*Родственники Асирей Цион, находящиеся в Израиле и представленные на конференции в составе израильской делегации, обратились к участникам со страстным призывом усилить борьбу и добиться освобождения узников Сиона:*

### ОБРАЩЕНИЕ

Мы, родственники узников Сиона, собравшиеся 2 февраля 1976 года, накануне

как те или иные люди пытаются оценить развитие еврейской иммиграции только лишь в количественных данных. Я полагаю, что это большая ошибка. Число иммигрантов может значительно колебаться. Оно может становиться то больше, то меньше в зависимости от многих факторов — таких, как ситуация на Ближнем Востоке, в самом Израиле, препятствия на пути иммиграции и т. п. Но об одном нельзя забывать: трудно найти сегодня такую еврейскую семью, в которой вопросы, сформулированные мною выше, не обсуждались бы каждый вечер; все больше и больше евреев задумываются над уроками еврейской истории.

Люди начинают понимать, что быть евреем означает нечто большее, чем просто запись в паспорте. И я думаю, что это и есть главный итог всего проделанного за текущие пять лет.

*С отдельными письмами к Конференции обратились многие евреи из СССР: Л. Левич, Л. Райнес, Э. Финкельштейн и др.*

открытия Второй Брюссельской Конференции, шлем это послание ее участникам.

Наши сердца полны горечи и отчаяния за судьбу наших мужей, сыновей и отцов, которые томятся в советских концлагерях, тюрьмах и ссылках. Все они были незаконно осуждены на долгие годы заключения в тяжелейших условиях только за их желание выехать в Израиль. Их здоровье подорвано. Им отказывают в медицинской помощи и запрещают посылать им лекарства.

Они постоянно страдают от недоедания. Однако по советским законам им разрешено получать лишь одну посылку в год, и то после отбытия половины срока наказания. Но даже и этой единственной продовольственной посылки их систематически лишают.

Они содержатся в строгой изоляции и им отказывают в их законном праве видеться с родственниками и получать письма от родных и друзей.

Мы, их матери, жены и дети, невзирая на наши многочисленные просьбы, не получаем разрешения навестить их. Их жизнь подвергается ежедневной опасности. Все

узники Сиона являются гражданами Государства Израиль. Мы обращаемся с призывом к участникам Конференции: спасите жизнь наших близких, боритесь за их немедленное освобождение и право на репатриацию в Израиль, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями и своим народом.

*Ева Бутман, Т. Сильницкий, Б. Цитленок, Р. Борискина, И. Нашлиц, М. Хнох, Ф. Школьник, Н. Ваташевская, Д. Спектор, И. Ляндрес, С. Дрори, П. Корнблит-Юдборовская, Ю. Дымшиц, И. Мешенер, М. Ренерт, С. Залмансон, Х. Гурвич, М. Нейбургер, Д. Хавкин, Л. Фельдман, И. Эренбург, В. Штерн, А. Тененбойм, И. Штейн, П. Хнох, М. Сильницкий, Миргина.*

*Представители олим из СССР — участники Конференции (А. Воронель, В. Польский, Г. Фейгин, И. Черняк и др.) выступили на пленарных заседаниях и активно участвовали в работе подкомитетов и комиссий (В. Богуславский, Д. Черноглаз, А. Фельдман, Л. Словин, Э. Любошиц, М. Гельфанд, И. Якоби).*

## АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

### ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА

С конца 30-х годов и особенно после 40-х годов евреи не могли больше строить себе иллюзий относительно исчезновения антисемитизма в России и перестали рассчитывать в своей повседневной жизни на справедливое отношение, выдвижения по службе или любовь избирателей. Все силы старшего поколения и все способности младших в течение 20–30 лет были сосредоточены на профессиональной компетентности, как единственной неотъемлемой ценности, и образовательном уровне, как единственном пути к благополучию и самоуважению.

Действительно, в 60-х годах евреи занимали прочные позиции во всех областях, требовавших компетентного подхода, несмотря на заметную дискриминацию. Даже в системе советской пропаганды для них был выделен специальный участок — "Литературная газета" и научно-популярные издания — требовавший особой живости ума и эрудиции, где эти качества поощрялись.

Это непрерывное напряжение, эта воля к развитию привели к положению, при котором элитную группу — профессоров, писателей, музыкантов — можно рассматривать как репрезентативную. Не в том смысле, что они составляют большинство советских евреев, но в том смысле, что большинство хотело бы ими стать. Они как бы воплощают идеальный образ советского еврея, каким он представляется себе самому, "если бы обстоятельства не помешали его развитию".

Особенности психики этой группы присутствуют в зародыше у всех русских евреев, представляющих собою гораздо большее единство, чем это кажется на первый взгляд. В 20-х или 30-х годах, когда евреи в России были народом лавочников и парикмахеров, каждая еврейская мать мечтала, чтобы ее сын был инженером или врачом. В 40-х и 50-х это действительно произошло (сейчас около половины всех взрослых евреев имеют высшее образование), но матери уже мечтают, чтобы их сыновья стали профессорами и академиками. Все это время

еврейский народ был похож на группу бегунов, растянувшихся после старта в длинную колонну, но сохраняющих единство поставленной задачи и направление движения. Рассмотрим настроение лидеров этого забега.

Большинство представителей лидирующей группы знает, что впереди их ожидает социальный и духовный тупик. Элитная группа не воспроизводится и их особое положение в обществе не может быть передано детям. Громадные усилия, которые тратят еврейские родители на дополнительное обучение детей и закулисную помощь друг другу в этом вопросе, разбиваются о советскую дискриминационную систему. Статистика показывает, что число вновь поступивших в институты, приходящееся на одного человека с высшим образованием, среди евреев вдвое ниже, чем в среднем по СССР (данные 1971 г.), а по отношению к числу научных работников — в пять раз ниже. Барьеры теперь выше, чем способен перескочить средний, даже хорошо подготовленный, юноша, и селекция перестала быть оздоравливающим фактором. ГРУППА деградирует и сыновья профессоров становятся сплошь и рядом даже не инженерами. Мы возвращаемся к народу парикмахеров и портных. Но это не просто возвращение...

Народ парикмахеров и портных, каким было русское еврейство начала века, имел богатейшую собственную духовную жизнь, которая была представлена не только десятками писателей, философов и тысячами раввинов, но и проникала во все сферы жизни портного и сапожника, давая ему некоторое утешение в его угнетенном и не слишком почетном положении.

Если русские евреи теперь станут парикмахерами и портными, они не смогут найти в своей жизни ничего, что поддерживало бы в них искру духовности. Элита, добившись феноменальных профессиональных успехов во всех областях русской культуры и технической деятельности, не создала ничего, что могло бы объяснить простому человеку, почему он должен мучиться из-за "пятого пункта" (национальная принадлежность) и обрекать на это своих детей. Но так как человек становится евреем в России не по своей воле (отметка в паспорте о происхождении родителей), у него отнято последнее

утешение национальной гордости и не предоставлено возможности раствориться.

Успехи, достигнутые евреями в советском обществе, сопровождались внешней ассимиляцией и адаптацией нескольких идей, которые на первых порах казались связанными с советской идеологией и от которых советское общество фактически сейчас отказалось. Восприятие этих идей в абстрактной, внеисторической и вненациональной форме и определяет тот духовный тупик, в который углубляется ведущая часть советского еврейства и который осознается уже сейчас многими его представителями. Возьмем три идеи или принципа.

1. Предпочтение производственной сферы сфере потребления, доходящее до подчинения самой жизни человека нуждам производства.

2. Склонность рассматривать человека и его судьбу как средство к некоей великой цели, а историю как процесс, направленный ко всеобщему благу.

3. Интернационализм и стремление к миру между народами.

Я сознательно формулирую эти принципы таким образом, что они кажутся почти общечеловеческими. Их значение определяется конкретными условиями жизни в обществе и различно в России, Израиле или в других странах.

1. В советских условиях, где потребительская сфера очень ограничена, а продвижение по службе для евреев затруднено, производственные и творческие успехи превратились в единственный источник положительных эмоций, единственную веру и единственную надежду сотен тысяч людей. Эти люди так глубоко проникаются интересами своего производства, что их волнуют мельчайшие детали процесса и совершенно не интересуют взаимоотношения этого процесса с реальностью (им даже трудно себе это вообразить). Таким образом, многолетняя инерция приспособления к разветвленной экономике великой страны сделала многих рабами этой экономики, причем самое печальное не то, что они рабы этой экономики фактически, а то, что это рабство внутренне ощущается ими как ценность. Действительно, в этом идеологическом вакууме, который существует в СССР, эта преданность производственным интере-



сам может рассматриваться как форма духовности и заслуживает самого высокого уважения, но в среде элиты зреет восстание против этого невероятного сужения понятия духовной жизни.

Десятки профессоров физики и математики ломают головы над чисто гуманитарными проблемами, сотни писателей пишут в стол или для самиздата и тысячи людей рискуют своим благополучием и карьерой, чтобы это прочитать. И все же мы обманывали бы себя, если бы считали, что такие люди составляют большинство. Большинство по-прежнему одержимо профессиональными интересами, причем это относится также и к людям, принявшим решение об эмиграции. Эта профессиональная одержимость с одной стороны обеспечивает людям некую специфическую духовную (точнее интеллектуальную) жизнь, а с другой — делает их совершенно беспомощными перед лицом всякого изменения социального статуса (и внутри страны и в случае эмиграции). При таком изменении лишь немногие умеют найти новые сферы приложения своим творческим способностям. Человек как бы уже превратился в деталь социальной машины, которая не может подойти ни к какому иному месту в этой машине, ни, тем более, к другой машине. Эта особенность затрудняет абсорбцию советского интеллектуала как в Израиле, так и на Западе.

Я заметил, что некоторые бывшие советские инженеры в Израиле начинают общественную деятельность "только для того, чтобы обеспечить себе нормальные производственные условия", но, втягиваясь в общественную жизнь, начинают говорить, что "только производственные успехи могут обеспечить нам нормальную общественную жизнь в стране". Таким образом, налицо некоторая перестройка сознания в сторону подчиненности профессионального элемента в реальной жизни.

Вообще говоря, предпочтение производственной сферы и творческих видов деятельности идеологически очень близко к сионистским идеалам начала века, когда проблема превращения евреев в народ со здоровой производственной основой была первостепенной. Однако это не превратило всех кибуцников в фанатиков сельского хозяйства, так как они не жили в

замкнутом мире. Мы должны констатировать, что имеется общая основа, которая может подтолкнуть русских интеллектуалов к сионизму. Однако это же может их оттолкнуть, так как реальная практика далека от тех первоначальных идеалов как по духу, так и по деталям.

2. Подчиненность индивидуальной судьбы некоей великой цели есть общая предпосылка религиозного мировоззрения и сообщает смысл жизни миллионам людей. Однако в советских условиях эта цель была сформулирована как грубо социологическая (коммунизм), в результате чего в России произошло грандиозное разочарование в социалистической идеологии. В интеллектуальных кругах одно время было популярно "демократическое" движение, рассчитывавшее на некоторую либерализацию режима. Неудача этого движения привела также к разочарованию во всяком социальном движении вообще.

В то время как для русской интеллигенции, благодаря христианской идеологии, остается выход — полагать, что царство Божие не от мира сего и потому стремление к земной справедливости не должно выходить за известные пределы — для евреев этот вопрос остается одним из самых трудных. Природный темперамент или семейная традиция предпочтения деяний чистой вере заставляют евреев непрерывно протестовать против различных несправедливостей, среди которых дискриминация собственного народа не всегда кажется им самой главной. Еврейский мессианизм, подкрепленный русской мессианской традицией, приводит к тому, что как те евреи, которые остаются в России, так и те, что готовятся к отъезду в Израиль, желают осуществления идеалов абсолютной справедливости в земной жизни в избранных странах. Пожалуй, только группа прямиков готова признать, что справедливости нет на земле и потому они просто ищут себе удобное место. Но даже и среди них многие рассматривают это как слабость. Поэтому главное, чем Израиль может привлечь этих людей, ищущих правду, — это попытка осуществить в реальной жизни некие идеалы. Согласитесь, что это и есть сионизм. Привлекательность его для русских евреев определяется не столько теоретическими достоинствами (мы видели по социализму, что теоре-

тические схемы не привлекают их больше), сколько практическим идеализмом его представителей.

Атмосфера идеологической свободы и духовного богатства есть то единственное, что могло бы быть противопоставлено униженному положению советского еврея в настоящем. Будучи ассимилированным по культуре и техником по складу ума, он все же остается евреем в главном — он остается носителем уникальной судьбы. Все больше людей в России готовы эту уникальность принять сознательно и бесповоротно, но они готовы к уникальности, а не к банальности. К трагедии, а не к фарсу. К трудностям, но не к суматохе. Соотношение великого и житейского в реальной жизни видится им иначе, чем это представляется человеку Запада.

Я думаю, что настоящая художественная литература могла бы помочь им понять реальность в ее сложности и освободиться от некоторого схематизма. Такая литература спонтанно складывается. Издавая еврейский САМИЗДАТ в России, я убедился, что евреи собственными средствами вырабатывают свою идеологию и литературу, преодолевая препятствия. Сейчас, спустя год после выезда, я вижу, что эта идеологическая работа не только не заглохла, но превратилась в целое течение, которому есть чем поделиться с еврейством всего мира. Нуждается ли еврейство в этом? Мне кажется, что нуждается, хотя и не сознает этого.

3. Интернационализм в основе очень благородное учение, которое берет начало еще в Библии. Однако я боюсь, что привлекательность этого учения для русских евреев коренилась не в Библии, а в том простом факте, что они как национальность были угнетены. Поэтому им показалось, что путь радикального уничтожения различий между народами избавит их от этого угнетения. Поскольку русские не были в прошлом угнетены, у них не было никакого стимула к стиранию этих различий, и они остались теми же русскими. В результате евреи не приблизились к интернациональному идеалу, а просто обрусели. Это не принесло им никакого увеличения симпатий со стороны других народов. Напротив, такая

способность к национальной мимикрии вызывает дополнительное раздражение у всех окружающих.

Сейчас вся молодая русская интеллигенция настроена националистически и интернационализм рассматривает как чисто еврейскую уловку в конкурентной борьбе. Для большинства евреев национализм их русских коллег так же неприемлем, как и крайние формы собственного, еврейского, шовинизма. В их сознании национализм противоречит принципам гуманизма и свидетельствует о недостатке культуры. В своих духовных поисках они нуждаются в некоей форме универсализма, который снимал бы крайности вражды народов. Немногие находят этот универсализм в христианстве. В сочетании с другими факторами ассимиляции этот путь ведет к исчезновению русских евреев как группы.

Однако подавляющее большинство остается на неопределенно гуманистической позиции и они представляют благодарнейшую почву для библейского универсализма, основанного на современной иудаистической философии. Однако ни единое семя еще не упало на эту почву. Русские евреи не имеют в своем распоряжении почти никаких еврейских знаний. Даже Библия на русском языке является в СССР громадной редкостью. И множество евреев узнают Новый Завет прежде Ветхого (и в лучших переводах).

Я хотел бы суммировать, что рассматриваемая мною группа прошла путь, предоставленный советскому еврею до самого конца и осталась неудовлетворенной, несмотря на заметные внешние успехи.

Они дошли до вершин творческой работы и убедились, что чисто профессиональная деятельность не может целиком наполнить их жизнь.

Они подчиняли свои жизни тем великим целям, которые формулировались в советском (и антисоветском) обществе и убедились, что цели эти — несуществующие, а сами они были исполнителями в чужой песне.

Они прошли до конца по пути ассимиляции и не освободились от унижений, но и не отказались от своей еврейской судьбы.

Теперь эта группа находится на распутье. От того, куда она повернет, зависит судьба всего русского еврейства в целом. Тем, кто бежит в длинной колонне бегунов на дальнюю дистанцию, не приходится задумываться о дороге. Они видят впереди лидера в красной майке и заранее знают свой путь. Простой русский еврей десятки лет, надрываясь, бежал вслед за лидерами по той единственной дороге, которая была им открыта советской властью. Теперь его судьба зависит от того, хватит ли у этих лидеров мужества и чувства ответственности выбрать дорогу самим, быть может, и вопреки советской власти.

Мы можем помочь им в этом своим примером и своим сочувствием, мы можем расположить их к себе либо оттолкнуть, но мы не можем за них выбрать тот путь, от которого, на самом деле, зависит и наша судьба...

До сих пор я говорил лишь о том, что я знаю, видел, слышал и наблюдал. Теперь настал момент сказать о том, во что я верю: **В России созревают условия для новой вспышки еврейского движения, и основной центр сионистской активности еще много лет будет там. Мы должны подготовиться к этому.**

⊗ *Личное участие в Конференции членов Конгресса Соединенных Штатов явилось весомым подтверждением содержательности послания доброй воли, адресованного конференции президентом Дж. Фордом, а также резолюции Конгресса, выражающей "солидарность американского народа с усилиями участников Брюссельской Конференции расширить область человеческой свободы".*

*Палата Представителей американского Конгресса была представлена на конференции конгрессменами Дринаном, Эллбергом, Фишем, Хебертом и Пейзером; сенатором Черчем.*

*Обращаясь к участникам конференции, Черч заявил: "В тот момент, когда большинство Объединенных наций швыряет в лицо доблестной демократической стране оскорбительное "Сионизм — это расизм", я, как американец, горжусь тем, что*

*мы остаемся на стороне этой страны, даже если мы остаемся в меньшинстве”.*

*Далее Черч сказал: “Авторитарные режимы, вроде Советского Союза, отнюдь не столь нечувствительны к мировому общественному мнению. Коммунистическим партиям Западной Европы необходимо как-то объяснять своим членам все, проводимые в СССР, репрессии”.*

*С высокой трибуны конференции Черч провозгласил: “В духе высоких демократических традиций Запада мы утверждаем, что советские евреи имеют не просто привилегию, а самое законное право выехать из СССР и беспрепятственно жить как евреи”.*

*Черч заявил, что, как член сенатской комиссии по иностранным делам, он будет по-прежнему стремиться побуждать свое правительство к тому, чтобы добиваться выполнения Советским Союзом Хельсинкского Соглашения в его разделах, касающихся контактов, поездок и эмиграции. Он провозгласил также: “Мы должны не менее твердо добиваться, чтобы Израиль, этот наш ценный союзник, получил, без всяких оговорок, все средства, необходимые ему для защиты от угрожающих ему врагов”.*

*Сенатор Черч закончил свою речь словами, выразившими настроения американских представителей на конференции и стоящих за ними слоев американского руководства и народа: “Мы не отступим!”*

*Благодаря участию христианских делегатов, координируемых “Организацией действия в пользу советского еврейства”, Брюссель-II явился также межрелигиозной ассамблеей. Христианская делегация включала представителей всех направлений христианства, и этот ее состав отражал широкую поддержку христианской церковью, в лице ее отдельных общин и деятелей, борьбы мирового еврейства в поддержку советских евреев. Делегация обратилась ко всем христианам с “Призывом к христианской совести”:*

Мы, христиане-католики, протестанты, евангелисты, из разных стран мира собрались в Брюсселе спустя 30 лет после нацистского преступления. Мы с горечью осознаем, что подавляющее большинство наших собратьев-христиан предвоенного поколения игнорировало очевидные признаки нацистского наступления на еврейский народ — наступления, которое кульминировало кошмаром нашего столетия: истреблением 6 миллионов евреев. Но сегодня нынешнее поколение христиан не останется молчаливым — мы присоединяем свой голос в поддержку борьбы за предотвращение культурного и духовного истребления евреев Советского Союза.

Мы собрались сегодня в Брюсселе, вместе с нашими еврейскими братьями и сестрами, чтобы заявить о своем глубоком сочувствии и озабоченности продолжающимися лишениями советских евреев и других угнетенных групп и национальностей законных человеческих прав...

...Правительство, которое прибегает к силе и репрессиям против своих граждан,

демонстрирует как свою слабость, так и свое неуважение к человеческой личности. Поэтому мы обращаемся ныне к руководителям Советского Союза: уважайте человеческие права, провозглашенные Уставом Объединенных Наций. Предоставьте евреям их право выбрать страну проживания, право, гарантированное им Декларацией о Правах Человека ООН. Мы призываем Советский Союз соблюдать те положения Хельсинкской Декларации, которые говорят о свободе мысли, совести, вероисповедания и убеждений, а также о свободе эмиграции.

Мы призываем советские власти прекратить угрозы и преследования обращающихся за визами.

Мы призываем прекратить мобилизацию евреев в советскую армию в качестве меры наказания.

Мы призываем прекратить осуждение невинных людей по ложным обвинениям.

Мы призываем прекратить направление людей в психиатрические лечебницы под предлогом "душевной болезни".

Мы призываем прекратить

практику лишения советских евреев профессионального статуса и возможностей получения образования.

Мы призываем прекратить запугивание обращающихся за визами путем лишения работы.

Мы призываем прекратить взимание взвинченных налогов с денежных сумм, посылаемых в виде подарка советским евреям из-за границы.

Мы с особой силой призываем прекратить безжалостное и жестокое заточение всех Узников Совести, евреев, и христиан, и требуем их немедленного освобождения.

Мы, как христиане, призываем советские власти способствовать созданию религиозных, культурных и образовательных учреждений для сохранения иудаизма и еврейской культуры, снятие ограничений на публикацию Библии и молитвенников на иврите и изготовление предметов религиозного культа, разрешить обучать раввинов и еврейских учителей в семи-

нарах как в СССР, так и за границей, создать представительный орган советского еврейства и дать ему возможность свободно общаться и сотрудничать со своими единоверцами в других странах.

Сознавая свои собственные недостатки и грехи в важнейшем вопросе о правах человека, мы тем не менее не можем оставаться безучастным перед лицом грубой и унижительной несправедливости, которая выпала на долю евреев и других национальных групп СССР.

...Мы призываем христиан во всех странах присоединиться к нам в этой борьбе за освобождение целого народа. Мы призываем наших братьев-христиан — подписать этот Призыв и вручить его политическим и религиозным руководителям их страны, сделав эту кампанию частью нашей великой борьбы под лозунгом: дайте евреям Советского Союза покинуть страну или дайте им остаться в ней евреями!

*Брюссель, 19 февраля 1976*

*Делегация христиан обратилась также с призывом к главам христианских церквей объявить пасхальные дни 1976 года днями солидарности с новым Исходом и со всеми верующими в Советском Союзе.*



## ВИКТОР ПОЛЬСКИЙ

### РАЗДУМЬЯ ОБ АЛИЕ

Евреи СССР закончили "первую пятилетку" массовой алии в Израиль.

Даже неисправимый оптимист не станет утверждать, что мы сейчас пришли к "новым успехам". Нет необходимости вновь приводить данные иммиграционной динамики алии: они известны и указывают на определенное истощение алии.

Сейчас (а вернее, уже намного ранее) пришла пора осмыслить эту новую ситуацию, проанализировать сложившееся на данный момент положение евреев в СССР, их сегодняшние настроения, намерения и чувства, и исходя из этого выработать новую стратегию действий в помощь евреям СССР.

На мой взгляд, очевидно, что следует, прежде всего, думать о выработке стратегии, а потом уже, исходя из принятой концепции, можно и нужно искать правильные тактические шаги.

Сейчас, после "угарной пятилетки" массовой алии, после пяти лет успехов и неудач, надежд и разочарований, следует заново найти ответы на вопросы, возникающие у всех, кого волнует судьба еврея СССР и судьба Израиля.

Если мы не зададим себе этих основных вопросов: "О чем думают сейчас евреи в СССР?", "Чтого они хотят?", "Как можно им помочь найти правильное решение?" – то мы останемся в плену наших устаревших оценок и представлений (восьми-, пяти- и двухлетней давности) и отстанем от быстро меняющейся ситуации еврейства в СССР. В таком случае мы будем продолжать действовать "по старинке", методами, которые перестали быть эффективными, и не предпримем тех новых шагов, которые могли бы действительно помочь евреям СССР твердо стать на путь национального возрождения.

Рассмотрим итоги пятилетнего массового движения за эмиграцию евреев СССР. На мой взгляд, основными фактами, которые следует положить в основу анализа, являются:

– Приезд в Израиль более 100 тысяч советских евреев, которые явились пробным камнем для испытания системы абсорбции и способности государства и общества принять алию из СССР.

– Несколько миллионов писем от олим в СССР стали источником живой, обильной и неофициальной информации о всех сторонах израильской жизни.

– Реальность перспективы выезда из СССР нормальной еврейской семьи, имеющей в своем составе лиц даже достаточно высокого профессионального уровня, вплоть до докторов наук и профессоров.

– Реальность перспективы многолетних отказов в разрешении на выезд для сотен и тысяч лиц самых различных профессий.

– Возникновение новых методов борьбы советских властей против алии: призыв в армию молодежи после подачи заявления о выезде;

высокие денежные налоги на выездные документы;

антиизраильская пропаганда в советской прессе в отношении абсорбции олим;

преувеличенное изображение в советской прессе военной опасности в Израиле.

– Последствия войны Йом-Кипур и их влияние на воображение евреев СССР.

– Ухудшение экономического положения в стране за последние 5 лет.

– Возросшая вероятность возникновения войны.

– Пройденный тысячами людей путь прямой эмиграции на Запад.

– ”Неободряющий” опыт йордим-олим из СССР.

Всей этой совокупностью знаний теперь обогащены евреи в Советском Союзе и именно эти знания берутся теперь ими за основу при решении вопроса о путях дальнейших действий.

Но необходимо сразу подчеркнуть, что здесь идет речь о евреях, непосредственно интересующихся вопросами выезда из СССР в Израиль или на Запад. Эта группа насчитывает, примерно 200–250 тысяч человек (удвоенное число лиц, имеющих

вызовы из Израиля), что составляет не более 10% от общей численности еврейского населения СССР. Это означает, что подавляющее число евреев СССР еще не приблизилось к практическому осмысливанию своего отношения к проблеме эмиграции из Советского Союза. Процесс пробуждения национального самосознания, начавшийся несколько лет назад, еще не коснулся основной массы советских евреев. Они еще остаются в плену ассимиляторских настроений, иллюзий о возможности изменения положения, или, по крайней мере, его стабилизации.

Этому заблуждению способствуют:

- опыт эпохи "ренессанса" евреев СССР в послереволюционный период (вплоть до Второй мировой войны);
- еще продолжающееся удержание последних (завоеванных ранее) важных позиций в советском обществе;
- обильная дезинформация об Израиле и еврействе в целом, поставляемая советской пропагандой;
- оторванность евреев СССР от источников объективной информации;
- физическая опасность проявления еврейского самосознания и национализма;
- подавление проявления в СССР всякого интереса к еврейской национальной культуре и отсутствие возможности приобщения к еврейской истории, литературе, искусству и религии;
- отсутствие контактов с еврейскими обществами Запада.

Понятно, что многим советским евреям нелегко, не располагая совокупностью фактов, только со своих субъективных позиций правильно оценить положение еврейского населения СССР и, что особенно важно, динамику положения, которая выглядит намного хуже, чем само положение. Эта динамика проявляется, в первую очередь, в молодом поколении. Уже сейчас удельное число новых студентов (относительно лиц, уже имеющих высшее образование) вдвое меньше среди евреев, чем среди русских, а удельное число новых научных работников – в несколько раз меньше. Таким образом, воспроиз-

водство еврейской интеллигенции в СССР фактически прекратилось.

Наш долг и обязанность: предоставить евреям СССР, находящимся в условиях изоляции, дезинформации и в плену опасных иллюзий, объективный анализ событий последних десятилетий, полную информацию об истинном положении в СССР, прогноз на наиболее вероятное развитие в ближайшем будущем.

С другой стороны, необходимо обеспечить им доступ к материалам по еврейской истории, культуре и религии, ко всем материалам, способствующим пробуждению еврейского самосознания.

В этих двух направлениях, как мне кажется, должна быть на современном этапе сосредоточена основная работа еврейских организаций Запада. Очевидно, что такая работа не может быть рассчитана на год, три, пять лет. Эта работа должна продолжаться до тех пор, пока в СССР будут проживать евреи и они будут нуждаться в помощи евреев Запада. Ведь даже при максимальной квоте на эмиграцию из СССР в 50—60 тысяч человек в год, евреи смогут полностью покинуть СССР через 50—60 лет. Нет оснований ожидать, что реальны более высокие цифры ежегодной эмиграции.

Все сказанное выше относится к основной массе еврейского населения, проживающей в Центральной России, на Украине и в Белоруссии. Именно от нее зависит дальнейшая судьба массовой еврейской эмиграции из СССР.

Всякая борьба за алию, проводимая на Западе, потеряет смысл, если внутри СССР не будет существовать большого внутреннего давления самих советских евреев, выраженного в виде десятков и сотен тысяч заявлений о желании покинуть СССР.

При всей неоднородности еврейского населения СССР можно попытаться выделить условно несколько больших групп, отличающихся как по своему положению и уровню, так и по своим, условно говоря, "требованиям для эмиграции".

Лицам среднего и высшего профессионального уровня необходима, в первую очередь, уверенность в возможности продол-

жения профессиональной активности в Израиле, а затем надежда на общественно-духовную абсорбцию. Для лиц без высшего образования на первый план выходит проблема общественной абсорбции, поскольку работу для этого круга лиц найти легче. Но общим для этих групп является сегодня недостаток активно выраженного стремления к преодолению трудностей, стоящих на пути людей, покидающих одну страну (и тем более такую, как Советский Союз) и переселяющихся в другую. В такой ситуации только сильная национальная мотивация способна сдвинуть людей с привычного места.

Еще несколько групп евреев СССР образуют верхнюю часть пирамиды Советского еврейства. Это прежде всего группа Узников Сиона, оказывающая своей судьбой сильное сдерживающее влияние на все остальные слои пирамиды.

Далее следует группа отказников (и в первую очередь, с многолетним стажем) — более многочисленная и более широкая по воздействию на окружающих, потому что реальная вероятность оказаться в отказниках намного больше, чем попасть в число Узников Сиона.

Затем располагается довольно большая группа евреев, уже твердо решивших подавать заявления на выезд, но временно не предпринимающих этого шага по различным семейным причинам.

И, наконец, имеется около 100 тысяч (а, учитывая повторные вызовы, возможно, несколько меньше) ”держателей вызовов”, находящихся в раздумье и выжидающих дальнейшего развития событий в Израиле и СССР.

Решение судьбы Узников и отказников, конечно, задача первостепенной важности, она требует определенных тактических действий, о которых уже много говорилось, и я не хочу повторяться.

Основная новая задача евреев Израиля и Запада — действия в многолетнем стратегическом плане, рассчитанном на достижение следующих целей:

— Рассеять заблуждения евреев СССР о процветании в прошлом и развенчать мифы о возможном улучшении ситуации в будущем.

- Дать объективную и обширную информацию о Израиле и еврействе Запада.
- Облегчить почтовые, телефонные и личные контакты с евреями на Западе.
- Способствовать пробуждению национальной гордости и самосознания.

На этом пути мы должны сделать все возможное, чтобы не упустить время и дать евреям СССР возможность своевременно принять судьбоносное решение.

*10.4.76*



## М Е М О Р А Н Д У М

Исполнительному Комитету Всемирной Сионистской Организации, всем сионистским партиям, объединениям, землячествам и всем организациям Сионистской молодежи.

### ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Из тяжкого и душного подполья обращается к Вам Ваша братская Единая Всероссийская Организация Сионистской Молодежи с призывом обратить сугубое внимание на исключительно тяжелые условия ее существования. Бесперывные преследования в течение последних шести лет существования Советской власти, безрассудное бросание сотен наших товарищей в Советские казематы характеризуют наш удел — удел ударов и мучений.

Нет у нас никакой формы защиты. Без суда, боясь выносить процессы сионистов на общественную арену, на открытое обсуждение, — ссылаются десятки наших товарищей в далекие места Сибири и Киргизии.

Борьба против еврейского национально-освободительного движения носит характер открытой и дикой расправы.

В это самое время орган Коминтерна, Мопр,\* имеет наглость писать в своем манифесте, что "буржуазные властелины мира считают величайшим преступлением борьбу за национальное освобождение... Что же делают в это тяжелое время люди, именующие себя защитниками рабочих", вопрошают демагогически авторы манифеста.

И мы также спрашиваем: где еще так дико борются с еврейским национальным движением; где еще так мерзко разделяются со всеми проявлениями еврейской национальной жизни; где еще так безжалостно угнетается целый народ; где еще так бесцеремонно насилуется воля трехмиллионного еврейства, как в стране, в которой властвуют именующие себя "защитниками" рабочих и всех трудящихся и угнетенных.

---

\*Так называемое Международное Общество помощи революционерам.

Нигде, кроме как в СССР.

Это должен знать весь культурный мир, мировая демократия, Всемирное еврейство и организованная Сионистская общечеловечность.

Российское еврейство загнано в подполье; уничтожены все его национальные институты; отсутствует национальное самоуправление. Есть лишь самоуправство и насилия со стороны кучки еврейских предателей, Евсекции, так называемого "органа диктатуры пролетариата" на еврейской улице. Эта кучка политических шарлатанов взяла самовольно власть над трехмиллионным еврейским населением с благословения Советской власти.

Безмерно тяжело экономическое положение еврейских масс. Они беспрерывно выталкиваются из всех, и без того шатких позиций, за которые они продолжают цепляться. Тяжелый налоговый пресс ложится всей своей тяжестью на согбенные спины еврейских трудящихся. Закрыты все еврейские национальные школы. На школы и еврейский язык воздвигнуты гонения, сравнимые разве только со средневековыми.

**Лишение еврейских масс общественной самостоятельности и национально-политического самоуправления — делают их бесправными и угнетаемыми.**

Еврейская молодежь вполне разделяет горькую участь своего народа. Она лишена возможности приобщиться к производительному труду. Деклассированная, она находится в состоянии полнейшей пауперизации и пребывает в нищенском состоянии. Она выталкивается на базары и занимает позиции в отсталых областях хозяйственной деятельности. Она лишена возможности получить образование, ибо двери учебных заведений закрыты перед нею, ввиду принадлежности ее большинства к слоям еврейской мелкой буржуазии. По этой же причине она лишена возможности получить и профессионально-техническое образование. Попавшие в первые годы революции в университеты, еврейское студенчество массами исключается, ввиду мелкобуржуазного происхождения его.

В низших школах проводится воинствующим образом националистическая Украинизация и Белорусизация; десятки тысяч



еврейских детей, занимающихся в этих школах, подвергаются влиянию чуждой им национальной культуры. Это делается в условиях, когда еврейская национальная культура находится в состоянии полнейшего загона. Отсутствие перспектив и возможность улучшения положения еврейского юношества ввергает его в невыносимо тягостное состояние. Оно в полной мере разделяет горькую печальную борьбу своего народа.

Антисемитизм цветет махровым цветом.

На местах самодурствующая власть беспощадно издевается над беззащитным еврейским населением (смотрите анкеты по обследованию еврейского местечка на Подолии, помещенные в "Эмесе"). К голосу его абсолютно не прислушиваются. Открытый стон и плач стоит по всем еврейским местечкам и поселениям. Вот общая картина нищеты, отчаяния и глубокого уныния, постигших Российское еврейство и его юношество. В это самое время кучка демагогов из Евсекции не только проявляет полнейшую бездеятельность, плетясь в хвосте событий, но делает все возможное, чтобы ухудшить положение, выявляя всю сущность ее предательской природы.

И если в это тяжелое для Российского еврейства время имеются еще национальные организации, мужественно поднимающие свой пламенный голос протеста против творимых насилий и издевательств над еврейскими массами, осмеливающиеся поддержать теплящийся еще огонек национального самосохранения и вносить светоч сионизма в ряды ищущего какой-либо маяк спасения, Российского еврейства, — то делается все возможное подлой Евсекцией и жандармско-карательными органами Советской власти, чтобы уничтожить эти национальные организации. Все псы выпущены из Советской псарни и под руководством Евсековских ловчиков производятся беспрерывные походы на все организации нашей национально-освободительной борьбы.

И в ряду терпящих беспрерывные насилия находится и наша "Единая Всероссийская Организация Сионистской Молодежи", собравшая в себе все ценное и активное, что есть в еврейской молодежи.

Начиная с 1922 года, когда в сентябре по всей Украине

прошла большая волна арестов и гонений, все время систематически проводятся походы на нашу организацию. Арестовываются десятки и сотни наших товарищей; их бросают в каменные мешки Советских тюрем и ссылают в далекие захолустья Сибирских краев, в Нарымский, Туруханский и Зырянский края, в Киргизию. Товарищи ссылаются за сотни верст от Сибирской Железной дороги в непроходимые болотные места и тундры далекого Севера, в места, куда Царское правительство прекратило в последние годы ссылку политических, ввиду безусловно грозившей им смерти.

Краткий перечень фактов из Евсековско-Советской карательной практики: в августе 1923 года были арестованы в Киеве два члена Центрального Комитета, т. т. Разумов и Шапиро, отбывшие один год ссылки в Киргизии, получившие потом дополнительно еще по два года, замененные высылкой за пределы СССР. В марте 1924 года были арестованы при массовом провале в Москве и Ленинграде члены Центрального Комитета нашей организации (быв. члены ЦК "Геховера") т. т. Явне и Каган, а равно целый ряд ответственных работников Московской организации. Арестованные после нескольких месяцев заключения в Бутырке были высланы за пределы СССР. В январе 1924 года был выслан за пределы СССР член ЦК тов. Товбин после полуторагодового заключения в Лукьяновской тюрьме, как осужденный по процессу Съезда Сионистской Трудовой Партии. В апреле того же года в Минске были арестованы десятки наших товарищей, в том числе весь состав Белорусского Областного Комитета и член ЦК тов. Меерович, высланный после нескольких месяцев заключения за пределы СССР. Особо чудовищными были массовые аресты 10-го июля 1924 года в Подольской губернии, во время которых были арестованы сотни наших товарищей и большое число ответственных работников и планомерно разработанный поход в ночь на 2-ое сентября 1924 года, прокатившийся по всей Украине. Были арестованы свыше Т Ы С Я Ч И наших товарищей вместе с тысячами членов других организаций и партий. Было арестовано все активное Одесское ядро Одесской организации и весь состав Одесского Районного Комитета; арестован новый состав

Подольского Областного Комитета (ОК), Киевские ОК, Бердический и Харьковский Районные Комитеты; Киевский и Житомирский Отделы нашей организации были арестованы в полном составе. В Одессе же были арестованы два члена Центрального Комитета т.т. Гербер (в третий раз) и Несцовицкий (во второй раз). В результате похода десятки товарищей сосланы в различные деревушки Нарыма, Урала, Киргизии и Зырянского края. Сотни наших товарищей высланы за пределы СССР.

В январе 1925 года были произведены аресты наших товарищей в Ленинграде и Бердичеве. В феврале текущего года по Белоруссии прокатилась большая волна массовых арестов, при которых были арестованы десятки наших товарищей. В апреле были новые аресты среди наших товарищей в Одессе; в марте опять в Бердичеве; в ночь на 3-е июня текущего года были новые аресты среди наших товарищей в Москве и, наконец, в середине июня во время массовых арестов были снова арестованы десятки наших товарищей в Харькове и в Бердичеве.

Десятки наших товарищей находятся сейчас в различных тюрьмах: Одесской, Харьковской, Киевской, Московской, Екатеринославской, Минской, Винницкой и др. в ожидании длительных этапов в дальние края Севера Сибири.

Положение наших товарищей в тюрьмах очень тяжелое. Их держат месяцами, не предъявляя никакого обвинения.

Товарищи принуждены длительными голодовками добиваться относительно нормальных условий тюремного существования.

В сентябре прошлого года все заключенные сионисты, в том числе и наши товарищи, объявили в Одесской тюрьме смертельную голодовку, продолжавшуюся четверо суток. Голодовка прекратилась после удовлетворения требований заключенных. Некоторым нашим товарищам при продолжении голодовки еще на один день грозила смерть, ввиду их борьбы с искусственным питанием. В Виннице нашими товарищами была проведена такая же активная голодовка с требованием улучшения режима.

В Ленинграде наш товарищ Давид За-

славский провел голодовку в течение двенадцати суток. Перенесенный на носилках из тюрьмы в дом предварительного заключения, он был с большим трудом спасен путем искусственного питания.

Система провокации, насилия, запугивания и издевательства свила себе прочное гнездо в Советской охранке. Психический террор — это мерзкое и дикое изобретение Советской жандармерии — применяется в широкой степени по отношению к нашим товарищам. Угрозы, насилия в темных подвалах, при направленных ко лбу пощелкивающих револьверов (на Волыни) стали испытанным орудием Советско-Евсековских охранников.

В Киеве нашего товарища продержали в холодном карцере, на цементном полу, при 23° мороза на улице, и с поставлением ему в качестве пищи холодной воды и черного хлеба в течение семи дней, чтобы заставить его признаться в принадлежности к организации и стать провокатором.

В Каменец-Подольске продержали нашего товарища в течение четырех дней в уборной ГПУ (Советская охранка) с той же целью — сделать его провокатором.

В Виннице отказали в просьбе нашему товарищу попроситься с матерью, находящейся при смерти, несмотря на отсутствие каких-либо улик против этого товарища в принадлежности к организации. После смерти матери этого товарища доставили под усиленным конвоем на квартиру, что вызвало крики возмущения и негодования всех наблюдавших эту ужасную картину. Вот небольшие извлечения из длинного перечня насилий и издевательств карательных органов Советской власти.

Почему же происходит такая дикая расправа над нашими товарищами, юношами и девушками.

Разве только потому, что в них еще теплится искорка преданности и любви к своему угнетенному народу; разве только потому, что еврейская молодежь разделяет вместе с народом все тяжести времени и смеет возвысить свой пламенный голос глубокого и резкого протеста против тяжелых и неслыханных гонений на еврейские массы; разве только пото-

му, что наши товарищи держат высоко и твердо зная национально-освободительной борьбы и борются за идеалы сионизма среди черной Евсековской своры ренегатов и предателей, сильных в борьбе против сионизма не орудием логики, а логикой орудия.

**И только за одно это преследуют наших товарищей.**

Но ведь Советская власть защищает всех угнетенных и "поддерживает" национально-освободительное движение. Почему же такое различное отношение к еврейскому национально-освободительному движению со стороны потерявших совесть и честь людей?

Или Советская власть поддерживает только тогда национально-освободительное движение, когда можно "заработать" политический капитал?

Лицемерие и ханжество сквозит в "справедливой" национальной политике Советской власти. Эта политика становится справедливой тогда, когда она сулит политические выгоды. Там же, где непосредственная политическая выгода отсутствует, выявляется подлинное лицо двуликого Януса с огнем и мечом в руках, уничтожающего все неугодное.

**И поэтому так жестока политика по отношению к еврейским массам и к еврейскому национально-освободительному движению; поэтому они не имеют тех национально-политических прав на автономию, которые предоставлены другим народам; поэтому так тяжело экономическое положение еврейских масс, а культурная жизнь заменена бесшабашно царствующим "ам-арацус". Поэтому же еврейская молодежь, живущая в условиях полнейшей придавленности своего народа, политического бесправия и экономического разгрома находится в еще более худшем положении.**

И если в этих условиях наиболее сознательные, здоровые и активные из еврейской молодежи указывают народу истинный и единственный путь к спасению и ведут активную борьбу за коренное изменение тяжелых условий существования, то они обречены на ужаснейшие лишения и преследования.

В этой борьбе передовая часть еврейской молодежи, организованное Сионистское Юношество вправе надеяться и рассчиты-

вать на моральную и материальную поддержку со стороны Всемирного еврейства, еврейской общественности, Всемирного Сионистского движения, его активных политических организаций и со стороны организованной Сионистской Молодежи.

Неужели семнадцатимиллионный народ не может поднять свой могучий голос протеста против всех насилий и издевательств, которые применяются в отношении Российского еврейства и органов национального движения.

Неужели Всемирное еврейство не может заставить советских жандармов и предателей из Евсекции прекратить глумление и дьявольское уничтожение лучшей части еврейской молодежи, обреченной на долголетнее заключение в лучшие годы своей жизни.

Мы вправе требовать от своих братьев моральной и материальной поддержки в неравной борьбе с Евсековским демоном, витающим над еврейскими руинами.

Мы призываем Всемирное еврейство, всю еврейскую общественность, Всемирную демократию, всю Сионистскую общественность, все организованное Сионистское Юношество поднять свой голос на защиту угнетаемой еврейской молодежи.

Организуйте "Общественные комитеты помощи узникам, томящимся за еврейское народное дело и содействие юношескому сионистскому движению в СССР".

Устраивайте манифестации протеста, митинги и демонстрации против неслыханных насилий и издевательств над еврейской и сионистской молодежью.

Вы можете и должны заставить Советских охранников прекратить дикое насилия над беззащитной еврейской молодежью.

Нас же не устрашат никакие гонения и насилия.

Мы будем стойко, твердо и непоколебимо держать знамя национального освобождения.

Знамя национальной борьбы находится в верных руках активной и жертвостпособной сионистской молодежи.

Во имя целей национальной свободы и Нашей — Вашей работы наши товарищи несут и готовы нести новые жертвы — пойти на

новые жестокие лишения, чтобы добиться свободы для своего народа.

Десятки наших товарищей, заключенных в многочисленных тюрьмах, десятки наших товарищей, сосланных в дальние края Севера, Сибири и Киргизии — шлют свой горячий и пламенный привет всему еврейскому народу, Мировому Сионистскому движению, Палестинскому Ишуву и организованной Сионистской Молодежи и дают верную клятву дальнейшей борьбы с угнетателями и поработителями своего народа.

Долой насилия над трехмиллионным еврейством!

Долой гонения на сионизм!

Да здравствует Еврейская Палестина и Мировое Сионистское движение.

Да здравствует Единая Всероссийская Организация Сионистской Молодежи — неотъемлемая часть Всемирного Союза Сионистской Молодежи.

**Центральный Комитет Единой  
Всероссийской Организации  
Сионистской Молодежи (ЕВОСМ).**

К моменту заключения настоящего Меморандума Центральный Комитет получил прискорбную весть о кончине в ссылке, в далеком захолустье Нарымского края, нашего товарища, секретаря Городского Комитета Житомирского Отдела ЕВОСМ — СОЛОМОНА ФЕЛЬДМАНА.

Вечная память нашей первой жертве красного террора.

*ЦК ЕВОСМ.*

*26-го июня 1925 года.*



Найденный в Центральном Сионистском архиве "Меморандум" поражает своей актуальностью. Если опустить приметы времени в документе, то он выглядит, как обращение к Брюссельской Конференции. Несколько слов об авторе Меморандума.

”Единая Всероссийская организация сионистской молодежи” (ЕВОСМ) была создана в условиях подполья 9 марта 1924 года путем слияния трех сионистских молодежных организаций: ”Гехавер” – студенческая организация, созданная в 1911 году за границей, действовала, в основном, в центральной России и Сибири; ”Гистадрут” – организация учащихся, создана в Одессе в 1907 г., действовала на Украине и в Бессарабии; и ”Кадима” – молодежная организация, созданная в 1917 году в Казани, действовала, в основном, в Белоруссии.

ЕВОСМ являлась беспартийной организацией еврейской молодежи на основе Базельской программы; ее цель была – сионистское воспитание молодежи. К концу 1924 года по всей стране было около 140 отделений организации. ЕВОСМ выпускала 2 раза в месяц информационный бюллетень ”Известия” для членов организации, а также издала единственный номер общественно-политического и литературного журнала на русском языке ”Даркейну” (”Наш путь”). Второй номер журнала был конфискован ОГПУ во время набора в типографии. ЕВОСМ тяжело страдала от непрекращающихся репрессий советских властей. Многие активисты были арестованы 2 сентября 1924 года во время массовых арестов на Украине. Во время массовых арестов 2 июня 1925 года в Москве, среди других, арестовали несколько членов ЦК ЕВОСМ. Несмотря на беспартийный характер организации, ряд ее членов тяготел к сионистско-социалистической партии ”Цеире-Цион-Итахдут”. Большинство сторонников беспартийного характера организации было арестовано в Ленинграде 1 марта 1926 года во время заседания Совета ЕВОСМ. После этого сторонники ”Итахдута” добились слияния организации с последним. Новая организация стала называться ”Единая Всероссийская организация трудовой сионистской молодежи” (ЕВОТСМ).

Эту организацию постигла судьба всех сионистских организаций России – она разгромлена органами ОГПУ в начале 30-х годов.

Здесь нам представляется уместным напомнить о позорной и страшной роли, которую сыграли еврейские коммунисты в разгроме еврейского национально-освободительного движения в СССР. Впоследствии подавляющее большинство этих людей пало, в свою очередь, жертвами сталинских чисток. Однако свойственное нашему народу сочувствие к жертвам и незлопамятность не должны заставить нас забыть одну простую и, к сожалению, еще актуальную истину – еврейские коммунисты отличаются от других коммунистов только тем, что являются еще и предателями своего народа.

*А. Фельдман*



## ЕЖИ АНДЖЕЕВСКИЙ

Ежи Анджеевский – выдающийся современный польский писатель. Начал печататься незадолго до второй мировой войны. Его повесть “Пепел и алмаз” была переведена на русский язык. После 1968 г., когда писатель выступил с резкой критикой культурной политики партии, Анджеевскому был закрыт доступ в печать. В последнее время Анджеевскому удалось издать пьесу “Прометей”.

Повесть “Страстная неделя”, предлагаемая читателю, была написана в 1943 году, под свежим впечатлением трагедии Варшавского гетто.

## СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

*Перевел с польского Л. Шевелев*

Роман

1

Малецкий давно не видел Ирен Лилиен. Летом сорок первого года они еще встречались довольно часто. Правда, тогда уже Лилиенов выселили из Смуга, но в тот период немецкие оккупационные власти еще не применяли суровых репрессий по отношению к евреям, и Лилиены, уплатив кому следует, избежали переселения в Варшавское гетто. Им даже удалось спасти кое-что из вещей, и с этими остатками состояния, в общем-то еще довольно значительного, они всей семьей перебрались поближе к Варшаве.

Лилиены – люди до войны весьма состоятельные, причем на протяжении нескольких поколений – настолько ощущали себя в безопасности, что в критической и новой для них ситуации им даже в голову не пришло перебраться в другой пригородный район Варшавы. Залесинек, где они сняли квартиру, находился на расстоянии четверти часа езды от Смуга, и на этой ветке электрички многие прекрасно знали Лилиенов в лицо. Сами же они так прочно срослись с польской культурой, что совершенно не заботились о том, что своим внешним видом могут возбуждать подозрение.

К счастью, Лилиены-старика в Варшаву совсем не ездили. Она — крупная, полная еврейка, вот уже несколько лет парализованная, не покидала своей коляски. Старик Лилиен, давно отошедший от банковских дел, довольствовался тем, что грелся на солнышке, а в ненастные или холодные дни следил за игрой в бридж. Зато профессор Лилиен с женой и Иреной ездили в Варшаву столь же часто, как и прежде. Пани Лилиен опасность грозила сравнительно меньше. Небольшого роста, худенькая и тихая, благодаря своим неправильным, но мягким чертам лица, она могла сойти за арийку. С профессором и Иреной дело обстояло намного хуже.

Ирена, по меньшей мере, два раза в неделю бывала в Варшаве. Она навещала друзей и знакомых, а желание увидеться с Малецким приводило к сверхпрограммным выездам. Ей нравились светская жизнь и развлечения, и она с удовольствием назначала свидания в модных во время войны кафе и барах. Ирена Лилиен была очень интересной: высокая, смуглая и стройная. Однако ее жесткие волосы и глаза были поразительно семитскими. Малецкий пытался объяснить ей, что следует быть осторожной, но Ирена смеялась и говорила, что немцы в таких вещах не разбираются. Хотя уже в то время бывали случаи шантажа со стороны поляков, но по отношению к себе и своим близким Ирена не принимала всерьез его вероятности. Красота и то положение в обществе, которое Лилиены занимали до войны, и к которому она привыкла, защищали, как ей казалось, от любой опасности.

Профессор Лилиен по другим соображениям также не принимал всерьез вероятность того, что может что-то случиться. Он очень болезненно переживал войну. Торжество жестокости подвергало тяжким испытаниям его благородный гуманизм и либерализм. Он выходил из них непоколебленным в своей вере в торжество человека и жизни, но защита этих, подвергавшихся опасности, позиций стоила ему очень дорого. Кроме того, Юлий Лилиен, одаренный великолепной интуицией и историческим воображением, не мог представить себе собственной судьбы, а также судьбы своих близких. Бывают люди, которые, достигнув высокого общественного положения, не

допускают, что может существовать сила, которая в состоянии ниспровергнуть их и лишить всего, что когда-то было завоевано. Таким был и Лилиен. Даже после выселения из Смуга, сменив просторную виллу на три комнатки, лишенный библиотеки, прислуги и удобств, он по-прежнему чувствовал себя тем же человеком, кем был до войны: потомком богатой, старинной фамилии, знаменитым историком, многократным ректором и деканом, членом многочисленных научных обществ в Польше и за границей. Лилиена считали выдающимся масоном. Был ли он им в действительности, а если да, то какую роль он играл в масонском движении — трудно сказать. У него были влиятельные родственники во всех странах Западной Европы и Америки и друзья как среди ученых, так и финансистов и политиков. Если он не покинул Польшу после сентябрьского поражения, а затем, в свое время, не воспользовался возможностью выехать в Италию, то, вероятно, прежде всего потому, что был абсолютно уверен, что при любых условиях он останется профессором Лилиеном. Но уже в первые военные годы сузился круг его деятельности и влияния. Однако это не оказало на него особого воздействия. Он работал без передышки, много писал и читал, навещал оставшихся в Варшаве друзей. Всем образом жизни, мыслями и чувствами он пытался подтвердить довольно сомнительную истину, что объективная форма действительности отстает в тень перед тем смыслом жизни, какой мы ей придаем.

В Залесинке Лилиены прожили все лето. Малецкий несколько раз ездил туда. Окрестность была типично подваршавской: песчаная, бесплодная почва, всюду некрасивые дачи среди карликовых сосен. По сравнению с красивым Смугом, с его старым парком и прудом — среди зарослей ольхи, терновика и черемухи так и захватывало дух от такой красоты — здесь было грустно и убого. Банальность снятой квартиры скрашивалась вещами, вывезенными из Смуга. В комнате профессора было еще много книг.

Последний раз Малецкий приезжал в Залесинек в одно из августовских воскресений. Кроме него, была еще одна молодая художница, Фея Пташицкая, которую несмотря на ее

большой рост, прозвали Пташкой, – подруга Ирены и поклонница интеллектуальных достоинств профессора. Остальные гости не явились. Это было неприятной неожиданностью, так как по субботам и воскресеньям к Лилиенам всегда приезжало много народу. В такие дни просторный трехэтажный дом в Смуге заполнялся, словно пансионат или гостиница. Лилиены неоднократно жаловались на излишек гостей, но они так к ним привыкли, что теперь были явно неприятно поражены зияющей пустотой. Подали прекрасный обед с цыплятами и весьма изысканным десертом, но даже купленный у немецких солдат французский коньяк, который Ирена подала к черному кофе, присланному из Турции, не прояснил сомнительной ситуации. Профессор, как обычно, был разговорчив, но чувствовалось, что его эрудиция и остроумие нуждаются в более многочисленной аудитории. Ирена вела себя несколько чересчур шумно, смеялась слишком много и слишком громко. Пташицкая носила в своем массивном теле нежное и чувствительное сердце, потому, желая создать хорошее настроение, время от времени совершала чудовищные ляпсусы. Она делала это столь искренне и со столь явно добрыми намерениями, что лишь ухудшала ситуацию.

После обеда, желая обязательно остаться наедине с Малецким, Ирена предложила прогулку в сторону старовейского леса. Однако сначала профессор набрасывал перед Малецким картину политической ситуации мира в войне, а затем Пташицкая мешала, хоть в конце концов и сориентировалась, что мешает, но уже никак не могла выйти из этой неблагоприятной роли. Малецкий вернулся в Варшаву раньше обычного. Ирена обещала приехать в ближайшую среду. Однако ни в ту среду, ни в последующие дни она не появилась. Малецкий в связи с работой, которую ему поручили при реставрации одного монастыря, выехал в дальнюю провинцию и увидался с Иреной лишь после возвращения, в конце следующей недели.

Между тем Лилиены столкнулись с большими неприятностями. По всей вероятности, кто-то донес на них, ибо именно в среду после того воскресенья ими заинтересовалось гестапо. На этот раз дело обстояло значительно более серьезно, чем в

предыдущий. Сначала взяли самого профессора. Его продержали в уездном городке весь день и всю ночь, но уже на следующее утро появились те же агенты и сразу же привезли пани Лилиен и Ирену в Варшавское гетто. И хотя они пробыли там всего лишь несколько часов – профессора также выпустили – но, судя по тому, что рассказывала Ирена, выкуп за освобождение на этот раз был очень высокий. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы оставаться в Залесинке. Надо было немедленно уходить, взяв только самое необходимое.

Наиболее затруднительным было положение с Лилиенами-стариками. Наконец, после продолжительных консультаций, преодолев множество различных препятствий, их поместили в одной из частных клиник в Варшаве. Профессор поехал в Краков выяснять тамошние условия, а пани Лилиен поселилась у своих дальних родственников, живших до сих пор в относительной безопасности. Ирену приняла к себе Пташицкая.

Вскоре после этого умерли почти одновременно старики Лилиены. Профессор вернулся из Кракова менее оживленный, чем обычно: очевидно, из его планов ничего не вышло. Во всяком случае, только теперь Лилиены решились сделать себе арийские документы и под фамилией Грабовских вновь поселились под Варшавой, на этот раз на правом берегу Вислы. Пару недель спустя, едва успев освоиться, они вынуждены были поспешно, буквально в течение часа бежать отсюда.

Последний раз Малецкий встретил Лилиенов у Фели Пташицкой. Больше всех изменился профессор. Он постарел, был подавлен, небрит и небрежно одет. Эта небрежность еще сильнее подчеркивала его семитский облик. Теперь он был очень похож на своего покойного отца, который в старости выглядел стопроцентным евреем. Пани Лилиен также выглядела плохо, она казалась еще более тихой и хрупкой, чем обычно. Только одна Ирена хорошо держалась и пыталась все обратить в шутку и приключение, которое вне всяких сомнений вскоре завершится благополучно. Но ее нервная беспокойная веселость была еще более неприятна, чем подавленность родителей. Все не очень-то хорошо представляли себе, что делать.

Пташицкая жила в Саксонской Роше, в доме матери, и в

самом лучшем случае не могла держать у себя Ирену больше чем одну—две недели. Семья Лилиенов оказалась неожиданно в затруднительном положении. Профессор пока что жил у одного из своих учеников, но это было так же неопределенно. Из того, что говорил профессор, можно было догадаться, что многие из тех, на помощь которых он рассчитывал, не оправдали его надежд. Кажется, это доставляло Лилиену особые страдания. Он сразу потерял уверенность в себе. И все трое, когда сидели в солнечный осенний день в мастерской Птащицкой за чаем, поданным в красивых фаянсовых чашках, производили безнадежно грустное и жалкое впечатление погорельцев, которым негде укрыться.

Несколько недель спустя Малецкий получил письмо от Ирены. Она писала из Кракова. К тому времени у Яна появились свои заботы, ему вновь пришлось выезжать в монастырь, поэтому, не ответив на письмо сразу же, он вообще ничего не написал ей. Потом пришло еще одно письмо от Ирены, короткое, очень грустное и всем своим настроением совсем на нее непохожее. На этот раз Малецкий хотел ответить, но новые переживания настолько отдалили его от Ирены, что он даже не знал, о чем писать. Он чувствовал, что Ирена несчастна, что ей плохо живется, в то время как сам он был счастлив — несмотря на поражение, для него как бы начиналась новая жизнь, а ничто не разделяет людей так беспощадно, как счастье или страдание. Много больших и малых забот разделяет людей, но ни одна из них не идет в сравнение по своей болезненности с неравенством в судьбе.

Так и в восприятии Малецкого, когда брак с Анной был уже делом решенным, образ Ирены удалился в глубокую тень, и никакие остатки былой дружбы и симпатий не могли помочь ему добраться до нее. Да и сама Ирена больше не писала. Какое-то время Феля Птащицкая получала от нее известия, но потом и эта связь оборвалась. Малецкий еще несколько раз навещал своих монахов. При этом каждый раз он останавливался в Кракове, но его желания разыскать Ирену кончались благими намерениями.

Летом сорок второго года, когда немцы, ликвидируя гетто,

организовали по всей стране массовую резню евреев, распространились слухи о смерти профессора Лилиена.

Лишь весной следующего года Малецкий совершенно неожиданно и при особых обстоятельствах встретил Ирену. Это произошло в предпасхальный вторник.

## П

Для Варшавы эта Страстная Неделя была мрачной. Как раз за день до встречи Малецкого с Иреной, в понедельник 19 апреля, часть оставшихся в гетто евреев начала оказывать сопротивление перед лицом новых репрессий. Ранним утром, когда отряды эсесовцев вошли за стены гетто, на Ставках и Лешне раздались первые выстрелы. Немцы, не ожидавшие сопротивления, отступили. Завязались бои.

Весть о вооруженном сопротивлении евреев не сразу распространилась по городу. Разные слухи кружились по Варшаве. В течение первых часов было только известно, что на этот раз немцы собираются окончательно ликвидировать гетто, а всех уцелевших от прошлогодних ликвидаций евреев вырезать.

В соседних со стеной кварталах закопошились. Там сориентировались быстрее всех. Из окон домов, прилегающих к стене, время от времени раздавались выстрелы. Немцы подтянули к гетто части жандармов. Интенсивность канонады час от часу возрастала. Оборона, поначалу хаотичная и носившая характер чего-то случайного, быстро превращалась в организованную борьбу. Во многих местах раздавались автоматные очереди. Бросали гранаты.

Уличное движение все еще было нормальным, и во многих местах бои проходили на глазах толп зрителей под громохание проезжавших трамваев. Между тем из кварталов, где не оказывали сопротивления, вывозили оставшихся евреев. Но и тогда еще мало кто мог предположить в этот первый день, что ликвидация гетто затянется надолго, что евреям предстоит сопротивляться много-много дней, а еще больше дней гетто будет гореть.

И вот весной, среди предпасхальных настроений Страстной Недели, в сердце Варшавы, которую четырехлетний террор не

сумел одолеть, началась борьба еврейских повстанцев, самая одинокая и трагичная из всех, какие вели в то время в защиту жизни и свободы.

Малецкий жил на окраине Белян — отдаленного района в северной части города. Когда в понедельник вечером он возвращался домой с работы, то впервые соприкоснулся с боями в гетто. Сразу же за площадью Красиньских трамвай, проезжавший вдоль стены гетто, охватило нервное возбуждение. Люди столпились у окон, однако, ничего не было видно. За стеной тянулись очень высокие серые дома, крытые черепицей, с прорезями узких, как бойницы, окон. Вдруг на Бонифратерской, прямо напротив больницы Иоанна Крестителя, трамвай резко и неожиданно остановился. Одновременно откуда-то сверху раздались плоские винтовочные выстрелы. С улицы ответил автомат.

В трамвае началась паника. Люди отпрянули от окон, некоторые бросились на пол, остальные пробивались к выходу. Между тем из узких, щелевых окошек еврейских домов стреляли все чаще и чаще. Пулемет, поставленный посреди проезжей части улицы, на углу Бонифратерской и Конвикторской, отвечал яростным треском. Узкой полосой проезжей части, между трамвайной колеей и стеной гетто, на полной скорости промчалась санитарная машина.

На следующий день трамваи, шедшие на Жолибож, доходили уже только до площади Красиньских. Малецкий, раньше обычного управившись с делами фирмы, в которой работал, возвращался домой в середине дня. Только что прекратилось движение трамваев, и Медовая улица была запружена опустевшими вагонами. Тротуары заполнились толпами пешеходов.

После перестрелки, продолжавшейся всю ночь, наступила короткая передышка. Но теперь вновь начался артобстрел, еще более ожесточенный, чем в предыдущий день. На площадь Красиньских уже не пропускали никаких видов транспорта. Зато толпа, беспокойная, шумная и возбужденная, заполнила выходы с Длугой и Новинярской.

Подобно всем крупным событиям в Варшаве, за которыми наблюдаешь со стороны, в этом было что-то от зрелища.



Варшавяне с удовольствием дерутся и с неменьшим удовольствием смотрят, как дерутся другие. Масса молодых людей и завитых, разодетых девиц сбежали из смежных улиц Старого Места. Наиболее любопытные проталкивались в глубь Новинярской, откуда лучше открывался вид на стену гетто. Вообще-то мало, кто жалел евреев. Просто люди радовались, что у ненавистных немцев новые неприятности. В глазах человека с улицы сам факт сопротивления горстки одиноких евреев выставлял победоносных оккупантов на посмешище.

Бой становился все более ожесточенным. В глубине площади Красиньских, перед зданием суда, крутилось много жандармов и эсесовцев. На Бонифратерскую никого не впускали.

Когда Малецкий оказался на выходе из Медовой улицы, мимо проехал грузовик, битком набитый солдатами с полной выкладкой. В толпе раздались смешки. Винтовочные выстрелы не прекращались. Это стреляли евреи. Немцы отвечали длинными очередями из автоматов и пулеметов.

У Малецкого было поручение от фирмы, которое надлежало выполнить в квартале, соседствовавшем с зоной боев. Поэтому он присоединился к толпе, двигавшейся по Новинярской. Начальный отрезок этой очень узкой и сильно разрушенной во время войны улицы отделяли от гетто блоки домов, построенных между параллельными Бонифратерской и Новинярской. Неподалеку от первого перекрестка, которым была Свентоерская улица, квартал обрывался, и открывалась пустая, широкая, изрытая площадь, которая образовалась в результате расчистки развалин домов, оставшихся от времен осады Варшавы.

У выхода из Новинярской на эту площадь толпа увеличилась. Тротуары и мостовые были забиты людьми. Дальше решались идти лишь немногие. Со стороны еврейских домов все время раздавались выстрелы. В перерывах, когда перестрелка стихала, каждый раз несколько человек вырывались из толпы и поспешно пробирались вдоль стен домов.

Едва только Малецкий добрался до места, уже находившегося под обстрелом повстанцев, как стрельба вдруг прекрати-

лась, и люди — одни спешащие домой или по делам, другие — подстегиваемые любопытством — сплошным валом повалили вперед. Опустевшая площадь теперь казалась еще более широкой, чем обычно. В самом центре ее стояли две карусели, еще не совсем законченные — их готовили, вероятно, в связи с приближающимся праздником. Под прикрытием этих странных пестрых декораций стояли солдаты в касках. Некоторые с винтовками, нацеленными в сторону гетто, опустили на одно колено. Под стеной гетто было пусто. А над ней вздымались молчаливые и тяжелые коробки домов. Своими узкими окошками и ломаной линией крыш, врезавшейся в пасмурное небо, они напоминали огромную крепость.

Люди, осмелевшие от тишины, начали останавливаться и присматриваться к одинокой стене. Оттуда сразу же посыпались выстрелы. В следующей части Бонифратерской, вероятно, около больницы, раздался глухой взрыв, за ним второй и третий. Очевидно, евреи бросали гранаты.

Все начали быстро разбегаться по ближайшим подворотням. В воздухе засвистели пули. Один из бежавших, коренастый человек в соломенной шляпе, вскрикнул и упал на тротуар. Стреляли и солдаты из-под карусели. Но вот резкие и очень сильные выстрелы сотрясли площадь. Серебристая лента снарядов била в одно из самых верхних окон дома оборонявшихся. Это откликнулась противотанковая пушка.

В тот момент, когда началось все это замешательство, Малецкий находился далеко от ближайших ворот, поэтому он инстинктивно отскочил к нише первого попавшегося магазина. Магазин был заколочен досками, тем не менее ниша его была довольно значительной и представляла собой подобие убежища.

Улица опустела. Двое плечистых рабочих подняли лежавшего на тротуаре мужчину. Один из них, совсем молодой, поднял также соломенную шляпу. Стоявший у стены солдат подгонял его. Потом, энергично жестикулируя, он громко закричал на женщину, оставшуюся в одиночестве посреди улицы. Она неподвижно стояла на краю тротуара, словно не понимая опасности, которой подвергалась, и всматривалась в темные стены напротив.

— Да не стойте же там! — воскликнул Малецкий.

Она даже не обернулась. Только когда солдат подбежал к ней и с криком рванул ее за руку, она подалась назад, втянув голову в плечи, неуверенным движением удивления и испуга. Солдат нервно и зло подтолкнул ее прикладом в сторону ворот. В тот же момент он заметил Малецкого, прятавшегося в нише магазина.

— Прочь! Прочь! — заорал солдат на него.

Малецкий выскочил из ниши и устремился вслед за бежавшей впереди женщиной. Теперь выстрелы раздавались со всех сторон. Противотанковая пушка стреляла очередями. Стекло, глухо звякнув, посыпалось на тротуар. Вновь раздалась взрывы гранат.

Женщина и Малецкий почти одновременно достигли ворот. Ворота были закрыты. Пока их открывали, Малецкий успел оглядеть свою спутницу, которая, по-прежнему сжавшись от испуга, теперь повернулась к нему в профиль. В первый момент он даже поперхнулся от удивления.

— Ирена!

Она посмотрела на него темными неузнающими глазами.

— Ирена! — повторил он.

В ту минуту молодая перепуганная консьержка отперла ворота.

— Скорее, скорее! — подгоняла она.

Малецкий схватил Ирену за руку и втащил в подворотню. Там было полно, поэтому пришлось пробираться сквозь толпу во двор. Ирена позволяла вести себя послушно и совершенно безвольно. Он затащил ее в глубь пустого двора.

Это был старый, грязный и сильно обшарпанный двор. Вместо одного из флигелей возвышалась голая прямоугольная стена — след военных разрушений. Посередине высилась гора кирпичей, а возле нее серел, вероятно, заготовленный под посадку овощей, кусочек жалкой бесплодной земли.

Когда они остановились возле крутых ступенек, ведущих в подвал, Малецкий отпустил руку Ирены и внимательно посмотрел на нее.

Она была по-прежнему красива, хотя и сильно изменилась.

Она похудела, черты лица заострились, глаза стали как будто еще больше, но потеряли теплый, столь характерный для них оттенок, а взгляд уже был чужим, почти суровым. Ирена была очень хорошо одета. На ней был костюм из светло-голубой шерсти, привезенный из Англии еще до войны, и шляпка, которая ей очень шла и которую Малецкий ни разу не видел. Но, то ли потому, что они давно не виделись, или же действительно она так сильно изменилась, Малецкому на первый взгляд показалось, что в Ирене выявилось семитское происхождение четче, чем прежде.

– Это ты? – коротко сказала она без всякого удивления.

Она посмотрела на него, но как-то рассеянно. Казалось, что она все еще прислушивается к доносившейся с улицы канонаде.

– Как ты сюда попала? Что ты здесь делаешь? Разве ты в Варшаве?

– Да, – ответила Ирена таким тоном, словно они расстались совсем недавно.

У нее был тот же низкий звучный голос, может только чуть-чуть менее вибрирующий и немного матовый.

– И давно?

Ирена пожала плечами.

– Откуда я знаю? Не помню, кажется, давно.

– И ни разу не дала о себе знать?

Она внимательно, несколько иронически посмотрела на него.

– А зачем?

Малецкий смутился. Этот обычный вопрос был для него совершенно неожиданным, никак не вязавшимся с Иреной, которую он знал раньше. Не найдя, что ответить, он замолчал. Ирена же вновь стала прислушиваться к шуму на улице, и по тому, как она напряженно, обеспокоенно и с некоторым страхом вслушивалась, можно было догадаться, что она совершенно забыла о своем спутнике. Молчание становилось для Малецкого все более неприятным и тягостным. Он явно чувствовал возникшую между ним и Иреной отчужденность. Принимая во внимание то положение, в котором, вероятно,

находилась Ирена, ему очень хотелось преодолеть эту отчужденность, но как, он не знал.

Тем временем зашумели и в воротах. Часть толпы начала поспешно отступать во двор. Маленький мальчик в порванных штанишках и обтрепанной рубашке выскочил из ворот и, в спешке толкнув Малецкого, крикнул взволнованно в глубину подвала:

— Мама! В наших воротах поставили пушку! Будут стрелять!

И, откинув упавшую на лоб прядь светло-русых волос, снова помчался к воротам.

Из подвала выглянула бледная, преждевременно состарившаяся женщина.

— Рысек! Рысек! — закричала она вслед малышу.

Того уже во дворе не было. Женщина, тяжело вздохнув, поднялась по неудобным ступенькам наверх. Вдруг начала стрелять противотанковая пушка. Оглушительная серия взрывов сотрясла стены. Где-то на верхнем этаже посыпалась штукатурка.

— О, Господи! — вскрикнула женщина и схватила за сердце.

Пушка била без перерыва. Вокруг все содрогалось. Уже не было слышно выстрелов еврейских повстанцев. Зато в этот оглушительный грохот стали вплетаться доходившие с другого двора хриплые звуки граммофона. Играли какое-то довоенное сентиментальное танго. Все больше и больше людей выбиралось из ворот.

— О, Господи! — тяжело повторила женщина. — За какие грехи человек должен так страдать?

Ирена, сильно побледнев и вздрагивая при каждом грохоте обстрела, процедила с неприязнью:

— Там больше страдают!

Глаза ее сверкнули, губы были поджаты. Малецкий никогда не замечал у нее такой злобной и желчной задиристости.

Женщина взглянула на Ирену усталыми поблекшими глазами.

— Больше? А откуда вы знаете, сколько я выстрадала?

— Там люди гибнут, — отрезала Ирена все так же неприязненно.

— Оставь... — прошептал Малецкий.

Но Ирена, уже не владея собой, резко повернулась к нему:

— Почему я должна оставить ее в покое? Там погибают люди, сотни людей, а здесь дают умирать как собакам, хуже чем собакам...

Она повысила голос, при этом все больше раздражаясь. Малецкий схватил ее за руку и оттащил в сторону, к выходу на одну из лестничных клеток.

— Опомнись! Ты что хочешь несчастья? На нас уже люди смотрят.

Действительно, несколько человек, вышедших из ворот, с любопытством поглядывало в их сторону. Ирена обернулась. Поймав их взгляды, она сразу же успокоилась и притихла.

— Мои документы в полном порядке, — шепнула она испуганно и с беспокойством посмотрела Малецкому в глаза.

Ему стало не по себе, как еще никогда не было на протяжении всего знакомства с Иреной. Он вдруг почувствовал страшный стыд и унижение за ее судьбу, а также свою беспомощность и привилегированность положения.

— Ну что ты говоришь? — несколько искусственно возмутился он. — Никто сейчас не будет заглядывать в твои бумаги. Самое ужасное, что неизвестно, когда можно будет отсюда выбраться. Где ты живешь?

— Нигде.

Малецкий вздрогнул.

— Как это нигде?

— Обыкновенно.

— Ты ведь сказала, что уже давно в Варшаве.

— Ну и что из этого, что давно? Туда, где я жила, нельзя вернуться. Впрочем, — она презрительно поморщилась, — теперь это неважно.

— То есть как неважно? Слушай, а как твой отец?

Она быстро взглянула на него.

— Значит, это правда? — прошептал он. — Были такие слухи...

– Правда.

Минуту он молчал, а затем, делая над собой усилие, спросил:

– А мать?

– Тоже умерла.

Он ожидал подобного ответа, но лишь когда услышал его, ощутил всю его тяжесть.

– Это ужасно! – все, что сумел он сказать.

И сразу почувствовал, как этого мало. Однако Ирена, стоя с опущенной головой и рисуя концом коричневого зонтика на растрескавшемся асфальте невидимые линии, не производила впечатления, что ожидает от Яна чего-то большего. Вероятно, страдание настолько глубоко проникло в нее, что она не добивалась ни сочувствия, ни сердечности.

Малешкий бессмысленно следил за движениями Ирениного зонтика. Мучительнее обычного переживал он тот же клубок чувств, который невольно, сам по себе, возникал каждый раз, как только он сталкивался с участвовавшими в последнее время трагедиями евреев. Это были чувства, отличавшиеся от тех, которые вызывали страдания его родственников, а также людей других национальностей. Они были мрачнее, сложнее и мучительнее. В минуты крайнего напряжения в них вплеталось особо болезненное и унижительное сознание туманного и неопределенного участия в бездне жестокостей и преступлений против еврейского народа, которым тот подвергался вот уже несколько лет с молчаливого согласия всего мира. Это сознание, бывшее сильнее всех рассудочных оправданий, было, пожалуй, самым горьким переживанием, вынесенным им из войны. Бывали периоды, как, например, в конце лета – немцы начали первые массовые ликвидации евреев, и в варшавском гетто днем и ночью раздавалась стрельба, когда чувство совиновности обострялось в нем с исключительной силой. Он носил его тогда в себе, как рану, которую, казалось, жгло все зло мира. Однако было ясно, что в этом больше беспокойства и ужаса, чем подлинной любви к беззащитным, окруженным со всех сторон людям, единственным на свете, которых судьба

лишила хоть и унижительного, но все-таки существовавшего братства.

Встреча с Иреной обострила то замешательство, которое нарастало в Малецком со вчерашнего дня. Он чувствовал себя очень подавленным, ибо, как типичный интеллигент, принадлежал к тому типу людей, которые без особого труда противопоставляют человеческим страданиям и обидам конфликты собственной совести.

Между тем противотанковая пушка смолкла. Из граммофона с соседнего двора звучал теперь сильный мужской тенор. Круглые и звучные итальянские слова громко и отчетливо оглашали стены. В глубине площади упорно продолжали тащить пулеметы. Люди, вышедшие во двор, вновь вернулись к воротам. Тот маленький мальчик, которого мать звала Рысек, подбежал к женщине, стоявшей около лестницы, ведущей в подвал.

— Мама! Немцы разрушают еврейские дома! Вот такие огромные дыры, — показал он руками, — уже сделали!

— Иди домой, Рысек! — шепнула женщина.

Тот покачал непослушной русой головой.

— Я скоро вернусь!

И, повернувшись, побежал обратно.

— Кажется, уже можно выйти на улицу? — произнес Малецкий и отошел от Ирены, желая взглянуть, что происходит в воротах.

Он увидел стоящую перед домом пушку и несколько немецких солдат вокруг нее. В глубине площади все еще стучал пулемет. Ворота были полуоткрыты, и небольшая группа людей вела переговоры с высоким плечистым солдатом, прося разрешения выйти. Сначала он не соглашался, но потом, наконец, уступил и махнул рукой. Несколько человек сразу же бросились к выходу. Малецкий быстро вернулся к Ирене.

— Послушай, сейчас можно выйти отсюда, только быстро, потому что вот-вот опять, вероятно...

Он замолк, взглянув на Ирену. Она побледнела, выражение лица изменилось. Одной рукой она держалась за стену дома.

— Что с тобой? — испугался Малецкий. — Тебе плохо?



– Нет! – ответила Ирена.

Однако она все больше бледнела. Малецкий огляделся вокруг и быстро подошел к женщине из подвала.

– Можно у вас попросить немного воды? Этой пани стало плохо.

Женщина посмотрела на Ирену. Какой-то момент она колебалась, а затем кивнула головой.

– Идемте.

Малецкий спустился за ней вниз и остановился в дверях. В нос ударил смрад. В подвале находилась кухня – сырое помещение с низким почерневшим потолком. Мебели почти совсем не было. На деревянном лежаке у стены лежал прикрытый рваным, некогда красным, одеялом старый изможденный мужчина. Ближе ко входу на столе сидел молодой парень и чистил картошку. Со скоростью автомата он взмахивал коротким перочинным ножиком, и размеренным движением бросал очищенную картошку в стоявшую на полу миску с водой. Лица парня не было видно. Он сидел, низко наклонившись, и лицо было погружено в тень. Женщина зачерпнула воды из ведра, подала кружку Малецкому. Тот поблагодарил и быстро вернулся наверх к Ирене.

– Выпей немного, – и он дал ей воды.

Поначалу она не соглашалась, но затем все-таки дала себя уговорить. Однако после нескольких глотков вернула кружку.

– Я не могу, – прошептала она с отвращением.

Она уже постепенно приходила в себя и только немного дрожала и опиралась по-прежнему о стену.

– Как ты себя чувствуешь?

Она кивнула головой, дескать, лучше. В эту минуту высунулась женщина из подвала.

– Может быть, вы хотите присесть? – крикнула она. – Пожалуйста. Здесь можно.

Малецкий вопросительно посмотрел на Ирену. Неожиданно она согласилась. Он проводил ее вниз. Женщина вытерла деревянный табурет.

– Садитесь, пожалуйста, – и она придвинула табурет поближе к двери.

Малецкий пристроился рядом.

Снова начали палить из противотанковой пушки. Лежавший у стены мужчина застонал, но женщина не обратила на него внимания. Она стояла опустив руки, худая, маленькая, измученная. Несмотря на жалкое заношенное платьице, она выглядела опрятно. Волосы, порядком поседевшие, были гладко зачесаны, кожа на висках пожелтела и казалась прозрачной, прямо, как пергамент. Вероятно, ей было не более сорока, хотя она и выглядела намного старше.

Малецкий посмотрел в сторону лежака.

— Это ваш муж? Он болен?

— Болен, — ответила та. — Но это не муж, а отец мужа.

— А муж?

— Еще в сентябре погиб.

Только теперь Ирена огляделась. Женщина сразу же перехватила ее взгляд.

— Немцы нас выкинули из Познаньского воеводства. В Могильно у нас был свой домик, мой муж был там садовником... Она умолкла и сама оглядела подвал. — А теперь вот так все и пошло!

Малецкий, который уже несколько минут присматривался к чистившему картошку парню, не выдержал и обратился к нему:

— До чего же здорово у вас это получается!

Тот вздрогнул, прервал работу и поднял голову.

Лицо, которое некогда, вероятно, было приятным, теперь распухло, покрылось темно-красными пятнами с синевой и производило впечатление маски. Парень был острижен наголо, веки покраснели, а глаза были мертвые, неподвижные и совершенно без блеска. Этот стеклянный, абсолютно непохожий на человеческий, взгляд произвел на Малецкого удручающее впечатление. Он даже почувствовал некоторое облегчение, когда парень, не издав ни слова, вновь наклонился и вынув из корзинки картофелину, начал ловко очищать ее красными опухшими руками.

В комнате воцарилось молчание. Мужчина у стены, постанывая, пытался вытащить руки из-под ключев одеяла. Тенор на

дворе распевал новую арию. Вдалеке раздавались отдельные короткие выстрелы.

— Это мой старший сын. Он вернулся из Освенцима, — сказала вдруг женщина.

Никто не откликнулся. Женщина измученным взглядом смотрела на юношу, который вел себя совершенно безразлично, словно не о нем была речь.

— Он сидел два года. Его схватили на улице.

Она вдруг засуетилась и начала передвигать старые горшки и кастрюли. Печку еще не топили, и в подвале царил холод, еще более пронзительный, чем во дворе. Солнце сюда, вероятно, никогда не заглядывало.

Малецкий посмотрел на Ирену. Она уже совсем пришла в себя, и была только немного бледнее обычного. Она сидела скованно, неестественно выпрямившись и своими темными глазами внимательно, но без всякой доброжелательности смотрела на женщину. Та, прекратив наконец наводить порядок, повернулась и подошла к сыну.

— Довольно, Казичек, — сказала она мягко. — На сегодня хватит.

И тут со стороны ворот донесся резкий хриплый крик одного из солдат. Парень вздрогнул, отодвинулся от окна и инстинктивно сжался. Его красноватые глаза боязливо скозились на минуту в сторону Малецкого и Ирены. Только заметив мать, он немного успокоился, однако по-прежнему прятался в углу, неуверенно поглядывая на чужих.

— Идем! — склонился Малецкий к Ирене.

Она тяжело поднялась и равнодушно, немного с презрением поблагодарила за гостеприимство.

Малецкого это задело.

— Ирена! — сказал он уже наверху с укором, — как ты могла таким тоном прощаться с этими несчастными?

Она поглядела на него так же иронически холодно, как и в начале встречи.

— Тебе не нравится мой тон?

— Нет.

Но твердость в его голосе вовсе не смутила ее.

– Что же делать. Такая уж я есть.

– Ирена!

– А чему ты удивляешься? – прервала она в раздражении. – Эта женщина не самая несчастная. Ей не приходится умирать от страха, что в любую минуту ее сыновей могут убить только за то, что они такие, а не иные. Они у нее есть, ты понимаешь? Она может жить. А мы?

– Мы? – не понял Малецкий в первую минуту.

– Мы, евреи! – ответила Ирена.

На этот раз пулемет отозвался очень близко. Зато пушка палила из дальних ворот.

– Прежде ты не говорила: мы! – тихо сказал Малецкий.

– Да, не говорила. Но меня научили. Вы научили.

– Мы?

– Вы – поляки, немцы...

– Ты нас объединяешь?

– Вы ведь арийцы!

– Ирена!

– Вы меня научили этому. Лишь совсем недавно я поняла, что все нас всегда ненавидели и ненавидят.

– Ты преувеличиваешь! – пробормотал он.

– Совсе нет! И даже если не ненавидят, то в лучшем случае с трудом терпят. Не говори мне, что у нас есть друзья, это лишь кажется, а на самом деле никто нас не любит. Даже когда вы помогаете нам, то делаете это иначе, чем по отношению к другим...

– Иначе?

– По отношению к нам вы должны навязывать себе самопожертвование, сочувствие, словом, все человеческое, доброе, справедливое. О, уверяю тебя, что если бы я могла так не любить евреев, как вы их не любите, то не говорила бы "мы и вы". Но мне не дано этого, и я должна быть одной из них, еврейкой! Да и кем я должна быть, скажи!

– С собой, – сказал он, но без особой убедительности.

Сначала она ничего не ответила. Опустив голову, она так и стояла некоторое время, снова рисуя зонтиком невидимые знаки. Но вот она подняла на Малецкого свои восточные,

прекрасные глаза и сказала с мягким оттенком, который прежде так часто звучал в ее голосе:

– Я и стала самой собой. А панны Лилиен из Смуга больше уже не существует. Мне велели о ней забыть. Вот я и забыла.

В воротах началось движение. Воспользовавшись новым перерывом в перестрелке, люди выскальзывали на улицу.

– Идем! – сказал Малецкий.

Немецкий солдат, охранявший ворота, подгонял выходивших. Малецкий и Ирена оказались на улице. Ирена не знала этих мест и остановилась в растерянности. Малецкий повел ее в сторону Францисканской. Немногочисленные прохожие пробирались туда же вдоль домов. Теперь раздавались только отдельные разрозненные выстрелы, причем издали. Посередине улицы медленно двигался открытый военный автомобиль. С его ступеньки молодой офицер громким голосом отдавал приказы солдатам, собравшимся вокруг карусели.

Малецкий и Ирена не успели еще дойти до Францисканской, как со стороны домов гетто вновь начали стрелять. Им сразу же ответила противотанковая пушка. Цепочка зажигательных была в одно из нижних окон.

Малецкий прибавил шаг.

– Скорее, скорее! – подгонял он Ирену.

Когда они добежали до Францисканской, густое облако кирпичной пыли прикрывало бомбардируемое окно. Оттуда били клубы дыма. В первый момент это производило впечатлительное пожара. Между тем начали стрелять из других окон. С угла Францисканской в их сторону послал очередь пулемет.

На Францисканской улице, правда, несколько в глубине, стояла небольшая группа людей, спокойно наблюдавших за ходом боя. Коренастый парень в комбинезоне, вымазанном известкой, толкнул своего приятеля.

– Гляди, Хенек! Видишь убитого еврея?

– Идем, – шепнул Малецкий.

Ирена остановилась и посмотрела в ту сторону, куда показывал парень. Действительно в одном из окон, сильно изрешеченном снарядами, был виден свесившийся из оконного проема труп. Убитый свисал из окна головой вниз, выбросив вперед

руку. С такого расстояния он казался очень маленьким, почти что непохожим на человека.

— Ты видишь? — допытывался парень у своего приятеля.

— Ага! — ответил тот. — Здорово висит, правда?

Услышав, что видно убитого еврея, люди начали собираться и присматриваться. В какой-то момент сквозь толпу протолкалась тощая баба с большой торбой, набитой шпинатом и редиской.

— Где, где? — начала она расспрашивать, щуря глаза. — Я ничего не вижу.

— Вон там, напротив! — объяснил женщине старый, оборванный продавец сигарет. — Ну прямо как мой палец.

За толпой, немного в стороне, опираясь о стену разрушенного дома, стоял мальчик лет шестнадцати, черненький, худой в спортивной курточке. Малецкий его хорошо знал. Это был его близкий сосед из Белян, Влодек Карский, который жил в том же доме, что и Малецкие, с матерью и младшей сестрой. Отец Влодека — майор, был в немецком плену. К тому времени Карский-младший проявил себя непослушным, склонным подурачиться подростком, который собирал у себя многочисленных друзей и подкованными ботинками устраивал большой шум на лестнице и в квартире. Теперь, когда он стоял бледный со сведенными гневом бровями, у него был неожиданно взрослый вид. Только поджатые губы по-детски выражали гримасу обиды.

Собравшиеся смогли уже досыта насмотреться на свисавший из окна труп. Одна лишь баба с редиской и шпинатом никак не могла его увидеть.

— Да где же он? — допытывалась беспокойно она, щуря близорукие глаза.

Наконец, кто-то не выдержал.

— А ты вынь глаз, может тогда увидишь что-нибудь.

В толпе раздалась смешки. Малецкий придвинулся к Ирене и взял ее под руку.

— Идем, Ирена!

В ту же минуту при звуке приблизившихся выстрелов толпа начала рассыпаться. Ирена, наконец, позволила Малецкому

увести себя в глубь Францисканской, однако при этом не переставала оглядываться.

— Да не смотри ты туда! — буркнул он раздраженно. — Зачем это тебе?

Они молча шли по узкому тротуару. Вокруг была давка и шум. Со стороны Старого Мяста подходили все новые люди, жаждавшие увидеть вблизи поле боя. Теперь под стенами началась настоящая канонада. Эхо выстрелов громко ухало между тесно сбившимися домиками. С крыш, балконов и ниш вспархивали голуби и метались над улицей. Двое подростков с грохотом мчались наперегонки на самокатах. Небо было пасмурным. Было ветрено и холодно и пахло весной.

В конце Францисканской, не доходя до костела францисканцев, возле улицы Фрета, Ирена остановилась.

— Где мы находимся? Куда я, собственно, иду?

— То есть как это куда? — удивился Малецкий. — К нам. — И сразу же спросил: — Ты ведь не знаешь, что я женился?

— Знаю, — ответила она коротко.

— От Фели Пташицкой?

— Да.

Они стояли на углу Францисканской и Фрета, рядом с киоском с примулами. По обеим улицам тянулись толпы людей. Шум и толчея совершенно изменили обычный облик этого тихого и спокойного старого квартала.

Малецкий отступил с края тротуара.

— Ну, так?

По выражению лица Ирены было видно, что она колеблется и не знает, что делать.

— У тебя есть, куда идти? — спросил он.

— В данный момент нет.

— Так о чем ты думаешь? Это ведь так просто.

Тем не менее она не сдвинулась с места.

— О чем ты думаешь?

Малецкий понимал, что должен каким-то образом облегчить ей принятие решения. А поскольку каждый добрый поступок, движимый скорее чувством долга, чем обычной человечностью, требует принуждения и усилия над собой, следовательно, и

Малецкий должен был заставить себя преодолеть эгоистичное упорство. И, как часто случается с людьми в подобных случаях, преувеличенной сердечностью он старался скрыть внутреннее смятение. Он хорошо понимал, что совсем недавно сказала Ирена, и потому было очень важно, чтобы она не уловила в его приглашении оттенок вынужденности. Но чем более искренно он пытался объяснить ей, что она должна согласиться, тем отчетливее понимал все неравенство их положения. Он отдавал себе отчет в том, что человек только тогда в состоянии по-настоящему облагодетельствовать другого, когда, совершая это, он сам себя чувствует облагодетельствованным.

Ирена рассеянно слушала слова Малецкого, при этом внимательно наблюдая за выражением его лица. Наконец, он смущенно замолк, несколько раздраженный ее испытующим взглядом. Его раздирали противоречивые чувства. Он оборвал на середине фразы.

Неожиданно Ирена отвела глаза.

— Хорошо, я пойду с тобой! — сказала она. — Это далеко?

Малецкий сразу же успокоился.

— Далеко! — ответил он и при этом даже повеселел.

Едва только он услышал свободное звучание своего голоса, как ему стало не по себе, словно он совершил грубость. Страдания Ирены не были его собственными, и он чувствовал, что все время должен следить за собой, постоянно контролируя свои слова и поступки, чтобы невольно не подчеркнуть разницу в их положении.

Вновь наступило молчание. Малецкий иногда прибавлял шаг, но сразу же замедлял, видя, что Ирена устала и ей трудно поспевать за ним. Ему вдруг пришло в голову, что молчание может вызвать у Ирены подозрения, не жалеет ли он о своем решении. Какой-то момент он не был уверен в том, как обстоят дела на самом деле. Может быть, действительно он поспешил? Имел ли он право подвергать Анну такой опасности? Он быстро отбросил эти сомнения, а потому неуверенность возросла.

По улице Фрета и дальше по Закрочимской, как по тротуарам, так и по мостовой шло все больше и больше людей.



Дорога вела через соседний с гетто квартал. Отзвуки стрельбы были слышны без перерыва.

Возле парка, который разбили на месте прежних укреплений Цитадели, Ирена заговорила первой:

— Это хорошо, что ты женился. Когда-то я даже была влюблена в тебя, но это хорошо, что ты не захотел на мне жениться.

Малецкий молчал. Ирена посмотрела на него с легкой усмешкой.

— Мы не приносим счастья. Разве что, когда у нас есть деньги.

Он невольно остановился.

— Сколько же в тебе желчи!

— Желчи? — удивилась она. — Почему? Это ведь правда.

— Очень горькая.

— Только для нас. Почему же для тебя она должна быть горькой?

Однако на этот раз она, очевидно, хотела смягчить неприятное впечатление от своих слов, потому что сразу же начала расспрашивать Яна о его работе и вообще, как он живет. Малецкий рассказал вкратце. Вот уже год он работал в одной фирме, посредничавшей в купле и продаже всякой недвижимости. Было много работы, весьма слабо связанной с его профессией архитектора, но зато платили совсем неплохо, так что вполне хватало.

— Твоя жена не работает? — спросила Ирена.

— Нет.

Сначала он, было, хотел объяснить, мол, до недавнего времени она работала в той же фирме, что и он, но теперь, в связи с тем, что в скором времени должна была родить, бросила работу. Однако в последнюю минуту он решил не упоминать об этом. И снова ему стало не по себе из-за его неискренности по отношению к Ирене.

— А твой монастырь? — спросила она.

Малецкий обрадовался, что Ирена помнит о его работе. Увы, с прошлого лета он уже больше не ездил в Гротницу, так как из-за нехватки денег дальнейшие реставрационные работы

пришлось отложить до лучших времен. Однако он оживился и с увлечением начал рассказывать, что ему удалось сделать до этого времени в старом монастыре.

— Значит, ты проезжал через Краков? — вдруг спросила Ирена.

Он не мог этого отрицать. И разговор, который, казалось бы, так хорошо завязался, вновь расклеился.

Они приблизились к мурановской части гетто, поэтому отзвуки выстрелов и треск пулеметов доносились все более отчетливо. Очевидно, и в этой части гетто шли яростные бои.

Теперь они шли молча по пустырю между начинавшим зеленеть парком и кирпичными укреплениями старой Цитадели. Вдали были видны дома гетто. Со стороны Вислы в спину дул холодный и резкий ветер.

— Как зовут твою жену? — спросила Ирена.

Он вздрогнул от неожиданности.

— Анна.

— Красивое имя.

И минутой спустя, словно желая говорить только для того, чтобы не слышать приближавшейся канонады, она снова спросила:

— Твоя жена, вероятно, удивится, когда увидит меня.

— Ну, что ты! — сразу же возразил он с несколько преувеличенной уверенностью.

— Я так много говорил Анне о тебе. Конечно же, она не удивится, — повторил Малецкий.

Разумеется, он ошибался, о чем впрочем и сам догадывался. Самое последнее, чего могла ожидать Малецкая в тот день, это знакомства с панной Лилиен.

Зная, что Ян должен вернуться домой пораньше, она была обеспокоена затянувшимся отсутствием мужа. А когда вернулся Влодек Карский и с восторгом, пожалуй, несколько преувеличенным, рассказал, что творится в городе, она уже не могла усидеть дома и пошла в сторону конечной остановки трамвая.

Она подошла туда как раз в тот момент, когда Малецкий с Иреной выходили из переполненного вагона. Еще издали она увидела их и сначала подумала, что спутница мужа — высокая и

красивая женщина, — вероятно, случайная встреча в трамвае. Анна была уверена, что Ян, как только заметит ее, ожидающую на краю шоссе, сразу же попрощается с той и сам подойдет к ней. Однако поскольку она пережила долгие часы волнений и иначе представляла себе желанную минуту встречи, непредвиденная мелочь испортила всю ее прелесть. Все страхи за Яна показались ей смешными и излишними.

Между тем люди поспешно покидали трамвай. Среди внезапно выросшей на остановке толпы Малецкая потеряла Яна из виду. По шоссе проходили крытые брезентом немецкие военные грузовики. Клубы белой пыли поднялись над дорогой.

Колонна грузовиков была длинной. Прицепы, тяжело тарахтя, катили один за другим и прошло несколько минут, прежде чем ожидавшая на остановке толпа смогла перейти через дорогу.

Малецкий не думал, что Анна выйдет ему навстречу. Он шел, поглощенный разговором с Иреной, не озираясь по сторонам и, вероятнее всего так и прошел бы мимо жены, не заметив ее, если бы в последнюю минуту та, преодолев внутреннее сопротивление, не махнула ему рукой. Он сразу же остановился.

— А вот и Анна! — сказал он Ирене.

Но радостный порыв сразу же угас в нем, как только он заметил, что на Анне старое, многократно перешивавшееся платье в горошек, которое он не любил. По сравнению со стройной Иреной жена казалась жалкой и неряшливой. Он знал, что Ирена придавала большое значение внешнему облику женщин. Принадлежит к мужчинам, которые охотно ищут подтверждения своих чувств у посторонних, он хотел, чтобы Анна произвела на Ирену наилучшее впечатление. Поэтому вину за свою вероятную неудачу он немедленно свалил на Анну. К сожалению, он не мог проявить нежность в тот момент, когда его самолюбие было задето. Они подошли к Малецкой. Та была явно смущена.

— Ты давно ждешь? — спросил он.

Анна отрицательно покачала головой.

Как обычно в трудных ситуациях, Малецкий пытался затушевать свое неудовольствие внешней непринужденностью.

– Я привез тебе гостью! – сказал он с мнимой сердечностью в голосе. – Это – Ирена Лиlien...

Малецкая подняла глаза на Ирену и слегка покраснела.

– А это Анна, – обратился он к Ирене, показывая на жену.

Они молча подали друг другу руки. Малецкий снял шляпу. Становилось тепло.

– Ну что, пошли домой?

И они направились к дому.

Дорога, которая вела от трамвая к довольно дальней вилле, в которой жили Малецкие, была песчаной и совершенно сельской. С одной стороны темнел густой сосновый лесок, полный вечернего птичьего щебета, а с противоположной стороны стояли белые чистенькие домики. Они все были похожи друг на друга – веселые и легкие, разделенные садовыми участками. Там белели груши и черешни, кое-где розовели миндалевые деревца, а молодые березки окаймляли нежная зелень. Вокруг, в тишине, раздавались детские голоса. На некоторых участках землю вскопали под посев.

После пасмурного и ветреного дня небо явно прояснело и вся западная сторона небосклона была светло-голубой и весенней. Пахло свежей землей и хвоей.

– Я еще никогда здесь не была, – сказала Ирена, оглядываясь. – Здесь красиво...

Потом она уже не обращала внимания на окружение. Она шла между Малецкими, осторожно ступая стройными ногами по песку, помахивая зонтиком – настолько горожанка, что этого почти невозможно было ожидать от женщины, привыкшей скорее к сельской жизни. При этом, время от времени, не прислушиваясь к тому, что рассказывал Малецкий о боях в гетто, она поглядывала на молчавшую Анну. Конечно, она сразу же заметила, что Малецкая в положении.

Жена Яна не была ни красивой, ни эффектной. Беременность уже успела деформировать ее хрупкую фигуру, придав очертаниям тела характерную отяжелелость. Да и передвигалась она довольно неловко, чересчур широко расставляя ноги, но при всех этих недостатках она так естественно переносила свою бесформенность, что состояние, в котором она находилась,

вовсе не портило ее. У нее были светлые, переходившие в пепельный оттенок волосы, неправильные, почти плебейские черты лица, слишком широкий рот и немного чересчур выступавшие скулы; по-настоящему красивыми были в ее лице только глаза — карие, влажные и очень теплые.

Когда кончились деревянные домики и лесок и началось поле, зеленевшее уже молодой рожью, Ирена спросила:

— Еще далеко?

— Теперь уже недалеко, — отозвалась Малецкая. — Сразу же за этими домами.

Они стояли за полем, но заслоняли только часть горизонта. Зато западная сторона раскинулась на очень большое пространство. Там начиналась настоящая деревня. Были видны лужайки, серая, без листвы, полоска лип и тополей, а за ними хаты, и дальше — фиолетовая тень леса. Там заходило солнце, большое и красивое, словно к ветру.

В конце поля начиналась тихая улочка, застроенная домиками в стиле польских усадеб. Перед каждым был садик, а вокруг много сирени и еще нераспустившейся акации. По этой улице надо было идти к дому, в котором жили Малецкие.

— Когда должен родиться твой сын? — неожиданно обратилась Ирена к Малецкому.

Его немного смутил этот вопрос.

— Почему обязательно сын?

— Вы что, не хотите сына?

— Ну, конечно, хотим! — рассмеялся он.

— Так когда?

— В середине июня, — пояснила Малецкая.

Ирена задумалась.

— Это ужасно долго...

— Но почему? — возразил Малецкий, — всего два месяца, причем неполных.

— Два месяца — это очень много, — повторила Ирена.

Малецкая слегка коснулась ее руки.

— Действительно, два месяца — это много теперь... Но нужно верить, — сказала она своим низким теплым голосом.

Ирена деланно рассмеялась.

— А если у меня нет ни капли веры! Мне просто хочется жить.

— Но именно ради того, чтобы жить, нужно верить, — заметил Малецкий.

— Во что?

— В жизнь, — увязал все глубже Малецкий.

Ирена презрительно усмехнулась.

— Ну, как же, как же!

Малецкий уже не мог сдерживаться. Он остановился и воскликнул с таким оттенком, словно открыл что-то необычайное:

— И однако ты говоришь, что хочешь жить! Что же это такое, как ни вера в жизнь?

Ирена пожалала плечами и подняла зонтик.

— Вера в жизнь? — повторила она. — Вовсе нет! Просто, чем больше видишь вокруг смертей, тем сильнее самому хочется жить, и ничего более...

Замолчали.

— А вот и наш дом! — показала Малецкая на виллу среди молодых елей.

Перед домом играли двое маленьких мальчиков и смуглая, очень похожая на Влодека Карского, девочка. Это была Терезка Карская. Она стояла в стороне и, скрестив руки на плечах, наблюдала, как оба мальчика, перемазанные в песке и глине, строят стену из камешков, веток и осколков стекла.

— Что вы делаете? — спросила, остановившись возле них, Малецкая.

Один из малышей повернул к ней свою круглощековую чумазую физиономию.

— Это гетто! — показал он с гордостью на стену.

У входа майорша Карская, худая и, подобно детям, смуглая, разговаривала с полной, крупной женщиной. Та, когда проходили мимо нее, недружелюбно прищурившись, очень внимательно посмотрела на Ирену.

Ирена не могла не заметить этого и сразу же на ступеньках спросила:

— Что это за толстуха там, внизу? Она что, живет здесь?

— Да, — ответил Малецкий. — На первом этаже.

— А ты не знаешь, кто она такая?

Малецкий пожал плечами.

— Понятия не имею! Ее фамилия Петровская. У нее есть муж, который моложе ее и занимается контрабандой ... вот и все...

Ирена задумалась. Минуту спустя, уже возле дверей квартиры Малецких, она вновь вернулась к той же теме:

— Особой благожелательности в ее взгляде не было...

Малецкий был того же мнения и поэтому стал энергично возражать.

— Ну что ты! Тебе это только показалось!

— Ты так думаешь? — она искоса посмотрела на него. — Тогда хорошо! Я бы не хотела, чтобы у вас были из-за меня какие-то неприятности.

Малецкий нахмурился.

— Ты слишком мнительная! — сказал он значительно более сухо, чем хотел того.

И вновь пробудились сомнения, хорошо ли он поступил, приведя Ирену к себе домой. Она была типичной еврейкой, в этом не было никаких сомнений. И все-таки он ее знал слишком долго, чтобы представить себе то впечатление, которое она может произвести на того, кто видит ее в первый раз.

Предоставив Ирене так называемый кабинет Яна, Малецкая сразу же вышла на кухню, чтобы заняться приготовлением ужина. Между тем Ирена положила на стол свой зонтик и медленно стала снимать шляпу. Вдруг, все еще с поднятыми над головой руками, она повернулась к стоявшему неподалеку Яну.

— Почему ты так смотришь на меня?

Он помолчал минуту, а затем ответил:

— Ты совершенно не изменилась...

Ирена положила шляпу рядом с зонтиком и присела на край стола.

— Зато ты очень изменился!

— Да?

— Увы! Постарел, подурнел... На самом деле! — подтвердила

она, видя смущение на его лице. — Мне кажется, что теперь я бы не смогла влюбиться в тебя.

Малецкий счел, что наилучшим выходом было бы обратиться все в шутку.

— Я полагаю, что ты бы этого никогда не сделала?

— Ну, конечно! — рассмеялась Ирена. — Разве ты считал, что могло быть иначе?

Звонок в дверь спас Малецкого от ответа. Это был Влодек Карский. Голубая рубашка спортивного фасона подчеркивала смуглость его лица и черноту волос.

— Простите, пожалуйста, — он раскланялся. — Пан Малецкий, пан Юлек дома?

Малецкий удивился.

— Мой брат?

Уже несколько недель он ничего не знал о Юлеке. Еще в феврале Юлек уехал неизвестно куда и зачем, как всегда по неопределенным таинственным делам.

Между тем из кухни выглянула Анна. Увидев младшего Карского, она улыбнулась.

— А, это ты, Влодек!

Тот покраснел и поклонился, щелкнув каблуками.

— Я к Юлеку... Можно?

— Он сейчас в ванной, — объяснила Малецкая. — Зайди немного попозже.

Юноша кивнул головой.

— Хорошо. Только, пожалуйста, передайте ему, что я заходил.

Он поклонился и, стуча подкованными ботинками, побежал вверх.

Малецкий пошел за женой на кухню. Кухня была небольшая, но светлая.

— Ты мне не сказала, что Юлек приехал. Давно?

— Вскоре после полудня, — ответила она. — Он все время спал.

На полу, возле буфета стояли сапоги Юлека, уже вычищенные после дороги до безукоризненного блеска. Ян присел на ближайший стул. На его спине висели небрежно брошенные



бриджи Юлека. Возле сапог на полу лежали шерстяные носки. Анна за столом резала хлеб.

— Он что-нибудь рассказывал? — спросил минуту спустя Ян.

— Юлек? — улыбнулась она. — Ты что его не знаешь? Он вернулся, очевидно, страшно уставший. Сказал, что все в порядке и пошел спать. Теперь он моется.

Действительно, через стену, отделявшую кухню от ванной, был слышен шум и плеск воды в душе.

Вдруг снизу раздался зычный голос Петровской:

— Вацек! Вацек!

Вацек был ее сыном.

Малецкий сидел наклонившись, уперев локти в колени, закрыв лицо руками.

— Послушай, как ты считаешь, Ирена очень похожа на еврейку?

Анна заколебалась.

— Да не так, чтобы очень...

— Но достаточно, правда?

— Пожалуй, да. Она очень красивая.

Малецкий нахмурился.

— Тем хуже! Она обращает тем самым на себя еще больше внимания. Сам не знаю, хорошо ли я сделал, что привел ее сюда.

Анна выпрямилась и прекратила резать хлеб.

— Думаю, что да, — ответила она.

Однако, ему нужны были более сильные аргументы.

— Ты это искренне говоришь? На самом деле?

Анна повернулась к нему.

— Неужели ты так плохо меня знаешь? — В ее голосе звучал оттенок укора.

Он ничего не ответил. Из ванной доносилось веселое посвистывание Юлека. Малецкого передернуло. Однако он вернулся к прерванной теме.

— Она сильно изменилась.

— Кто, Ирена?

— Ей теперь тяжело... ты даже не представляешь себе, как тяжело...

Анна задумалась.

— А как же может быть иначе?

— Да, — согласился он, — это правда. А ты знаешь, что теперь она считает себя еврейкой?

Он почувствовал смущение, когда жена ему ничего не ответила. Этот разговор был начат с целью, чтобы поделившись с Анной своими сомнениями, тем самым найти себе оправдание. Малецкий был настолько совестлив, чтобы ощущать необходимость оправданий, но не настолько, чтобы не желать и не нуждаться в поиске их. О поступках он судил по намерениям, а для намерений, поскольку часто не замечал их противоречий, не находил правильных и четких критериев и суждений. Это были темные и непрочные заросли, в которых он постоянно терялся и пропадал. Так произошло и на этот раз. Он встал и прежде чем сумел подавить раздражение, произнес сами по себе возникшие слова:

— Зачем ты одела это платье? — он посмотрел на жену с неприязнью, — ты ведь хорошо знаешь, что ужасно в нем выглядишь!

Анна с самого начала разговора ожидала, что Ян это скажет. Еще по дороге к трамвайной остановке она подумала об этом. Она знала, что Ян не выносит этого злосчастного платья в горошек, которое она сама в общем-то тоже не любила. Однако она вышла из дома в таком волнении, что совсем забыла переодеться. Она, было, подумала, не вернуться ли домой, чтобы переодеться, но тут услышала, как подъезжает трамвай. Поэтому не вернулась. Анна глубоко заблуждалась, считая, что ее женское понимание степени важности чувств и поступков должно полностью разделяться и мужчиной, которого она любила. Между тем, вразрез с желаниями, любовь двух людей часто приводит к взаимным разладам.

— Я могу сейчас переодеться, — спокойно сказала она.

Прежде чем он успел смягчить резкость своих слов, громко хлопнула дверь ванной и сразу же вслед за этим на кухне появился Юлек, отдохнувший и вымытый, с еще мокрыми волосами. Ростом он был выше брата, поэтому одолженная пижама была немного коротка.

— А, ты уже дома! — обратился он к Яну. — Привет, старик! Как поживаешь?

Малецкий поздоровался довольно холодно.

— Хорошо. А ты?

— Как видишь! У вас роскошная ванна, я отдраился за все это время. Пижама твоя, как ты, наверное, догадываешься. Я ее взял из шкафа. Ты не сердишься?

Малецкий пожал плечами.

— Лучше одевайся скорее, сейчас будем ужинать.

— Вот и прекрасно, — обрадовался Юлек. — Я страшно голодный. Я уже одеваюсь, вот только соберу свои манатки.

Он наклонился за сапогами и носками, при этом волосы сползли ему на лоб и он решительно откинул их назад.

— Надеюсь, вы позволите мне переночевать у вас?

— Разумеется, Юлек! — отозвалась стоявшая у окна Малецкая. — Как ты мог иначе подумать!

— Спасибо! Только до четверга, максимум до пятницы. Дай сигарету, — обратился он к брату.

Ян достал портсигар. Юлек взял сигарету и прикурил от газовой конфорки.

— Ты снова уезжаешь? — спросил Ян.

— Еще неизвестно. Посмотрим.

Придерживая сапоги и носки под мышкой, с сигаретой в зубах, он взял со стула свои брюки. В тот момент, когда он хотел перекинуть их через плечо, из кармана брюк выпал на пол небольшой темный пистолет. Юлек быстро нагнулся, схватил оружие и снова сунул его в карман. При этом он залился румянцем.

Анна ничего не заметила, а Ян счел уместным оставить происшествие без комментариев.

— А где вы меня положите? — спросил все еще немного смущенный Юлек. — В кабинете?

Анна задумалась.

— Пожалуй, в столовой. Там тебе будет не слишком удобно...

— Ерунда! Мне всюду удобно.

— В кабинете у нас гость...

- О! – заинтересовался Юлек. – Кто такой?
- Ты не знаешь ее, – сказал Ян.
- Женщина?
- Ирена Лилиен.

Юлек, в свое время слышавший от брата о Лилиенах и Смуге, присвистнул от удивления. Однако ничего не сказал. Он уже направился к двери, когда Анна припомнила о Влодеке.

– Ах да, Юлек! Недавно заходил Влодек Карский и спрашивал тебя.

Юлек остановился.

- Влодек? – задумался он. – Смуглый, брюнет?
- Да, он живет здесь, над нами.
- Знаю, уже вспомнил! – кивнул головой Юлек и улыбнулся.

Если бы не эта улыбка, явно относившаяся к каким-то делам, связывающим их, Ян, может быть, справился бы с раздражением. Но теперь он не выдержал.

– Я вижу, ты решил заняться просвещением подростков.

Юлек поморщился и сразу же принял вызывающий вид.

– Ну и что? Ты меня осуждаешь?

– Да.

– Жаль! Тебя, конечно.

Малецкий даже побледнел от злости.

– Тебе уже двадцать с чем-то лет и ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится...

– Надеюсь! – пробормотал Юлек.

– Но, полагаю, ты отдаешь себе отчет в том, какой вред наносишь таким мальчишкам, как этот Карский, вовлекая их в свои дела? – он показал на место, куда упал пистолет.

– Что ты несешь? – возмутился Юлек. – Речь идет не только об этом! Борьба идет за нечто большее. За... да что с тобой разговаривать! Одно только могу сказать, жаль, что тебя никто, как ты выражаешься, не просветил, когда тебе исполнилось шестнадцать лет!

– О! – вставил Ян.

– Конечно! У тебя оставалось бы меньше времени на твои

сомнения, и ты бы не вырос... ааа! — махнул он носками. — Ты сам знаешь.

Малецкий вздрогнул, но сразу же прикрылся гримасой презрения.

— Что ты обо мне знаешь?

— Я? — прищурился Юлек. — Я о тебе знаю ровно столько, чтобы осудить. Это только ты о себе знаешь слишком много. И слишком мало, но все на то и выходит!

Ян иронически улыбнулся.

— Я вижу, ты начинаешь философствовать. Прекрасно! Но нельзя сказать, чтобы ты страдал отсутствием самоуверенности.

Юлек хотел быстро ответить, но взгляд его случайно упал на невестку. Она стояла у стола, опустив голову, повернувшись к обоим мужчинам в профиль. Тень от ресниц падала на щеку. Вид у нее был задумчивый и грустный. Юлек сразу же остыл. С бриджами через плечо он подошел к брату.

— Не сердись, старик! Я не хотел тебя обидеть.

Но Ян так сразу не хотел уступать.

— Мне кажется, что ты довольно часто делаешь различные вещи нечаянно?

Губы Юлека дрогнули, а щеки слегка потемнели. Он опустил голову, но через минуту поднял глаза и улыбнулся.

— Ты очень наблюдателен! — сказал он с легкостью. — Я иду одеваться.

И он вышел из кухни, по обычаю слишком шумно закрывая за собой дверь. Вскоре из спальни Малецких, где он оставил свои вещи, донеслось громкое посвистывание.

Ян минуту стоял в неподвижности, задумавшись, кусая губы. Наконец, он повернулся к жене.

— Симпатичный у меня братишка, не правда ли?

Анна начала накладывать на тарелку нарезанные куски хлеба.

— Ты ведь знаешь, что я очень люблю Юлека.

— Ты ведь его почти не знаешь! — он пожал плечами. — Сколько ты его видела? Всего лишь несколько раз.

опаловый цвет блузки подчеркивал темноту ее тяжелых, пышных волос.

На звук открывающейся двери она обернулась.

— Прости, пожалуйста, — начал оправдываться Малецкий, — но оказывается, приехал мой брат. Я об этом ничего не знал.

— Брат? — удивилась она.

— Ты его не знаешь. Юлек.

— А! — припомнила она. — Это тот, за которого ты все время беспокоился?

— Тот самый. Правда, я уже перестал беспокоиться.

Ирена вновь посмотрела в сторону балкона.

— Послушай, на какую сторону выходят здесь окна? Я не очень хорошо ориентируюсь...

— Там восток! — и он показал рукой на Вислу.

— Погоди, — задумалась она, — значит гетто в той стороне?

— Немного южнее.

Она мельком взглянула в ту сторону и сразу же вернулась к прежней теме:

— Так что же делает твой брат?

— Юлек? — переспросил он и ответил с полным безразличием. — Не знаю. Думаю, что то же самое, что и большинство его ровесников.

Ирена засмеялась.

— Но ведь он еще совсем молодой!

— Ну, допустим...

— Правда! — задумалась она. — Я и забыла, что ты мне уже рассказывал о нем давным-давно. Сколько же прошло с тех пор? Три года, может, даже больше...

*(Продолжение следует)*



## ЮЛИЙ МАРГОЛИН

### ГАЛЯ

Рассказ

...Если бы не война, разве я бы вышла замуж в Столине? Есть такое местечко на Горыни-реке, среди лесов, далеко от железной дороги. Евреи ездили на поклон к столинскому ребе издалека, из-под самой Варшавы.

Я попала туда случайно. Мне предложили работу в Леспромхозе города Столина. Время военное, 40-й год. Я беженка, деваться мне некуда. Столин – так Столин. Местечко переполнено. Одних евреев набежало с восемь тысяч. Неевреев – тысячи две. Живем, как во сне. В Варшаве немцы, а здесь советская власть. Чем это все кончится – неизвестно, а пока я вышла замуж.

Муж у меня был сильный, большой. Хороший парень. Называл он меня "поросеночком", а почему – догадайтесь сами... Начинает он ко мне приставать: венчаться под "хупой", по закону, а то ему пред матерью стыдно. Святой город Столин! Но я заупрямилась: "Ни за что не пойду под балдахин. Я не религиозная. Хватит с нас и гражданского брака". И тут они меня взяли хитростью.

"Идем к маме на чай", – говорит мой Бенья.

Я прихожу, а там все готово, раввин в широкой шляпе, все родственники, дети с цветами. "Дурочка, не бойся! Это же всего одна минута!" И двери заперли. Под балдахином я разревелась от злости, а кругом все смеются. И я мужу сквозь слезы: "Никогда, никогда я тебе этого не прощу!"

После чего отправилась я покупать себе туалет. Не в магазин, конечно, – какие магазины в советском Столине! – А к помещице Олехновской. Была такая старуха, ее мужа и сыновей большевики забрали, и она перебралась жить в Столин на окраину. Домик ее в поле выходил. Она вещи продавала, тем и жила. Звоню – прислуга открывает. Здоровенная баба, гренадер.

— Вам чего?

И я самым-самым сладким голосочком: "Мне пани Олехновскую... по делу..."

Выходит Олехновская: женщина седая, гордой осанки, в трауре. Трудное тогда было время для поляков, а эта еще и аристократка, шляхтинка.

— Я беженка, вещи все растеряла, одеться не во что... не продадите ли чего из вещей?

Из кухни является прислуга, что двери открывала, вытирает руки, садится к столу, и я вижу, что ошиблась: нет, это не простая баба, это, видно, родственница, из той же семьи... Начинается разговор, и все мне в этом доме нравится: комнатки чистенькие, уютные. Об Олехновской я много хорошего слышала, и как бывает — десяти минут не проговорили и подружились. Верчусь, примеряю, смеюсь... Чай с вареньем подали. "Как у вас хорошо, — говорю, — как все мило... уходить не хочется!" "А вы и не уходите, — говорит Олехновская. — Мака, заверни ей эти два платья. Берите, с ценой сойдемся. Не деньги важны, а человек важен!"

Так и завязалась между нами дружба. Я не платья — я жизнь себе купила в тот день.

Через два месяца пришли ночью за старой Олехновской. Известное дело, помещица. Был у меня знакомый энкаведист, человек приличный, тихий. Я сейчас к нему: "За что ее взяли, это, наверно, ошибка". А он мне отвечает: "Я вам удивляюсь, товарищ Галя. Это классовый враг, а если симпатичная да добрая, то это лишь тем хуже. Советская власть симпатичных помещиков особенно не любит... отступитесь от нее, ее дело пропащее". "Похоже как у наци, — говорю, — там тоже евреи должны быть черные с кривым носом, а если кто блондин с голубыми глазами, тем хуже, такого в первую очередь ликвидируют".

Он на меня глаза вытаращил: "Товарищ Галя, таких сравнений не делайте никогда, для вашего добра, а уж эта ваша Олехновская, черт с ней, устрой ей передачу".

И так стали мы с Макой пересылать в тюрьму еду и вещи, а от нее принимали грязное белье — в стирку.



В один вечер разбирали мы такой узелок из тюрьмы, и вдруг замечаю: торчит тесемка из панталон. Я выдернула тесемку, а на ней надпись карандашом вдоль: "С п а с а й т е м е н я!"

Как это спасти? От чего спасти? Что они с ней делают? Ничего мы не знаем, не понимаем, а на утро с узелком белья на смену пошли к воротам тюрьмы. А под воротами толпа: "Ведут!" И растворились ворота, вывели человек двести: пешком по пяти в ряд, с мешками на спинах, старых, молодых, всяких. И Олехновская шла с краю, щеки ввалились, платок на бровях, лицо безумное. А я через конвойных, через штыки: "Белье, белье!" Конвойный, как замахнется прикладом: "Смотри, а то вместе пойдешь!" Страх бледный напал на нас с Макой, остались мы обе в стороне: "Конец Олехновской!" Слезы сами собой льются. Мы вернулись в пустой домик на краю поля. "Конец, конец Олехновской!"

Прошло две недели, и я стала уговаривать Маку.

— Нельзя тебе дома сидеть без работы. Зачем на себя внимание обращать? Иди на работу, иди в Леспромхоз.

— Да я не умею ничего.

— Велика важность. Мы все сначала не умели. Я тебе покажу, будешь счета писать... Ты же грамотная.

И начала Мака работать в Леспромхозе. Голова у нее хорошая, деловая. Не прошло и месяца, пошла Мака в гору: она счетовод, она же и экономист, она и хозяйка, без нее в Леспромхозе стула не переставят.

Только наладили мирную жизнь, как Гитлер дал о себе знать. Грянула весть: Немцы идут. Война!

Конец июня был жаркий. Горынь обмелела, зарницы полыхали, и каждый день ползли слухи. Немцы в Бресте! Немцы в Кобрине! Советские люди молчали первые дни, и мы, глядя на них, молчали. Переполох начался в тот день, когда мы увидели грузовики под горкомом. "Уходят! А с нами что будет?"

Советской власти было не до нас. Эвакуировали из Столина четырех всего евреев — из местных воротил. Бросились тогда

многие за лошадьми, за телегами. Еще через день тронулся из Столина цыганский обоз: возов сто поехало на советскую границу, а на них — молодежь, все, кто не хотел попасть в руки немцев. С ними поехал и муж мой, Беня. Перед отъездом я ему дала слово заботиться о его матери, и попрощались, кто знает на какой срок?..

Но они недалеко уехали. На советской границе ждала их застава. "Вы кто такие?" и "Не приказано пропускать!" В военное время по советским дорогам самотека не допускается. И вот, простояв полдня, тронулся обоз столинских евреев обратно — навстречу немецкой армии. Медленно тянулись возы через глухие белорусские деревни, и мужики смотрели с удивлением на это похоронное шествие... На рассвете вернулись в Столин, а там от большевиков и следа не осталось. Хозяйничали в городе налетчики. Евреи притаились. Шли грабежи по домам. Ждали немцев каждую минуту.

Ворота на двор тюрьмы НКВД были полуоткрыты. Под забором лежало двадцать трупов. Уходя, расстреляли арестованных. Мы с Макой прокрались во двор, искали Ирену.

Весь Столин знал Ирену. Девушка восемнадцати лет, красавица, а патриотка — ну точно, как в романах Сенкевича "Потоп" и "Огнем и Мечем". Семью Ирены давно вывезли, а ее задержали. Она же сама и была виновата. Наговорила лишнее, а в тюрьме, представьте, вздумала петь польский гимн "Еще не сгинэла". Бесстрашная.

Мака нашла тело Ирены, мы положили ее на носилки и понесли за город на опушку леса. Мы торопились, как бы не наткнуться по дороге на немцев. Взяли мы по лопате, выкопали яму под деревом... я не смела смотреть... у ней была вся черная грудь. Что они с ней сделали перед смертью? Мака перекрестилась, и мы поскорей ушли.

Еще три дня прошло, и немцы явились в Столин. Немного их было: всего четверо немцев на автомашине. И этого было достаточно. Четыре немца на восемь тысяч столинских евреев. В летнее утро собрали евреев на базарную площадь, и немецкий офицер принялся ругать их с крыльца советского горкома.

— Вы такие и сякие. Вредный народ, испорченный, Работать

не хотите, никто вас не любит, и не нужны вы никому. Вы поджигатели войны известные. Во всем вы виноваты. Но мы вас заставим работать и слушаться. И чтоб завтра же все одели желтую звезду...

Мертвое молчание на площади. Стояли стар и млад, потупив головы.

— Сдавайте шубы и ценные вещи. Сдавайте золото и деньги. И запрещается вам ходить по тротуарам. Ходите среди улицы, а по мне и совсем не показывайтесь.

В мертвом молчании, потупив глаза, стояла толпа.

На другой день назначили нам Юденрат и "еврейскую полицию", чтоб исполнять немецкие приказы. И началось, как в дурном сне. Еще через несколько дней нахлынула в Столин тысячная толпа еврейских женщин с детьми. Они прибежали за 30 км из Давидгородка. Под Давидгородком показались партизаны. Может, и были среди них евреи. Кто стрелял, неизвестно. Короткая расправа: собрали все мужское еврейское население Давидгородка. От 12 лет (две или три тысячи) всех до одного вывели за город и расстреляли. А женщинам приказ: "Уходить из местечка вон — все равно куда. Сию минуту. Кого через час найдем в городе — уьем".

Это надо было видеть, когда вырвалась из местечка обезумевшая толпа старух, молодых вдов с младенцами на руках, девчонок, которые за руку вели малых ребят, тысячи фурий с растерзанными волосами, в столбняке страха, который отнял у них голос и слезы. Немцы не дали времени плакать. Всю ночь они бежали по открытой дороге из Давидгородка в Столин, встречные мужики уступали им дорогу и крестились в испуге, в иных местах бабы выносили хлеб и воду, а в других натравливали собак на них и осыпали злорадной бранью.

В Столине мы приняли их с плачем, но для всех нашлось место. В ту зиму голод и холод заставили нас сгрудиться, как стадо овец. Евреи грели друг друга собственным телом.

Пришлось мне идти в прислуги. Мака меня взяла к себе. Уже тогда нельзя было евреям и арийцам жить вместе, но Мака получила разрешение выбрать себе еврейку в прислуги. Я осталась при ней. А когда заперли евреев в гетто, она мне

достала пропуск. До шести часов вечера я работала у нее, а потом возвращалась в гетто.

Тогда начали евреи менять все, что имели, на еду. Через меня шла торговля. Я приносила Маке вещи, она их выменивала у соседей. Я боялась сама в гетто носить припасы. Мака шла за мной в 6 часов вечера, доходила до забора гетто и, улучив минуту, перебрасывала через забор кульки с мукой и крупой. Так мы в гетто кормились.

А тут кто-то донес немцам, что Мака дружит со мной. Один из них пришел проверить, с кем это дружит Мака. Я стояла у печи и варила обед, когда постучали и вошел высокий, худой немец со впалыми щеками. Я боялась смотреть ему в лицо. "Ты что здесь делаешь?" – "Варю обед". Немец подошел к печи, снял крышку с горшка, заглянул, понюхал. Запах ему понравился. Он что-то хотел сказать. Я думала, он велит подать ложку. Но немец перемог себя. Еще раз понюхал, махнул рукой и ушел.

Когда наступило переселение в гетто, тысячам евреев велено было бросить дома, мебель, погреба с припасами и перебраться на бедную окраину местечка. Был Столин еврейский пятьсот лет, и в полдня стал арийский. Но в гетто вокруг лачуг и бедных хат нашли евреи сокровище: огороды. Бывшие владельцы оставили им грядки с картошкой, луком, огурцами. Во дворах осталась даже арийская птица! Еврейские хозяйки начали манить кур: "Цып, цып, цып!" Но куры, представьте, не отзывались. Куры не понимали по-еврейски. Пока не начали звать их по-мужицки: "У-гу, у-гу, у-гу!"

Восемь тысяч евреев сидело за колючей проволокой. И постепенно стали доходить страшные вести. Не смели, не хотели верить... О том, что случилось в Сарнах. О том, что сделали в Высоцке. Была среди нас молодежь, хотела собрать оружие, бежать в лес, организовать сопротивление... но было поздно. Некому было позвать их: "у-гу, у-гу, у-гу". Столинский ребе решил иначе.

Сказал столинский ребе, столп Израиля:

– Не сметь! Как жили, так и умирать будем: по воле

божией. Разве место еврею в лесу? Мы – не волки. Наше место в доме молитвы.

Пропуск у меня был только до шести часов вечера. Но в тот день Мака не отпустила меня. В Столин прибыла рота СС. Гетто было оцеплено. Я осталась в арийской стороне. Мака не позволила мне выйти из дому. Она ушла и заперла меня на ключ. Я легла в темноте и всю ночь слушала: ветер рвал ставни, и мне казалось, что я слышу далекую стрельбу.

Мака все не возвращалась. Может быть, партизаны ворвались в город? Или пьяные немцы стреляют? Почему не возвращается Мака? На рассвете наступила необыкновенная тишина. Как будто вымерло местечко. Я ломала руки. Ни звука за окном, улица пуста.

Мака вернулась в девять часов утра. И я ужаснулась, глядя на нее. Лицо белое, как мел, и синие губы.

– Мака, я хочу домой, в гетто.

– Нет больше гетто, Галя, нет никого в живых.

Я окаменела. И Мака смотрела на меня странно, как будто мы обе спали, и это все нам снилось. Я сказала во сне, беззвучно:

– Что ты говоришь?

Я не слышала ее ответа. Но я уже знала, что все умерли, и сейчас наступила моя очередь. Я хотела проснуться и не могла. Первой проснулась Мака. Я увидела, как дрогнули ее зрачки, глаза стали осмысленными, и в них появилось человеческое выражение. Она тронула меня за руку.

– Что делать, Мака?

– Ничего. Переждать.

Она за руку вывела меня в другую комнату. Всего их было две, и в первой комнате от сених стояла корзина. Плетеная корзина для белья. Метр длины и 60 сантиметров в высоту. Не было другого места спрятать меня. Если бы немцы нашли меня в квартире Маки, они убили бы нас обеих. Я легла в корзину. Мака бросила мне яблоко. Крышка закрылась над моей головой. Мака покрыла корзину длинным вышитым крестьянским полотенцем. Под ним я лежала и ждала, чтобы немцы ушли из Столина.

Я ждала полтора года.

Не удивляйтесь этому. Можно жить в корзине для белья, если на выбор только смерть в немецком застенке. И смерть не была мне так страшна, как попасть в руки этих людей.

В корзине я помещалась на спине, согнув колени и упираясь ногами в стенку; я могла шевелиться, чуть-чуть поворачиваться, и таким образом выдержать часа три. Корзина стояла в углу, и из окна ее не было видно. Это было важно, потому что прохожие под окном, и особенно знакомые, часто заглядывали внутрь комнаты — с улицы. Закрывать окно нельзя было — это бы вызвало подозрение. Только вечером я выходила из своего угла, когда темнело. Днем я лежала в корзине, в пустой квартире и ждала, чтобы Мака вернулась со службы.

Первые два дня я не ела ничего. Я не могла собраться с мыслями. На третий день я съела яблоко.

В этот день собрались у Маки подруги и начали вспоминать меня:

— И Галя тоже погибла! Жалко Галю!

А Мака в ответ:

— Нашли кого жалеть! Пустая девчонка, коза, нестоящий человек.

И так они вспоминали меня и говорили о столинских евреях:

— Евреи все были коммунисты! Без них нам лучше будет!

А Мака отвечала:

— Еще посмотрим, лучше ли немцы евреев.

И все хором:

— Немцы — страшный народ! Такого варварства свет не видел. Кто знает, что с нами будет, если они войну выиграют.

А я лежала в темной комнате в корзине и слушала.

Через несколько дней нашелся кто-то, кто видел, как меня вели убивать: "Жандармы в толстых шинелях велю Галю, босую, в одной рубашке, с лицом в крови и слезах. Жалко Галю!" — И мне было жалко ту, другую Галю, мою сестру, такую же как я. Но я хотела жить! Как я хотела жить! Одна из всех! Против Гитлера, против всех властей и законов! Уже одно, что я дышала, было победой. И Мака была со мной.

После ликвидации гетто немцы собрали все вещи, которые остались от убитых, и разделили на две части. Лучшие вывезли в Германию, а что похуже раздали местному населению. Я начала уговаривать Маку: "Пойди, возьми тоже! Может, попадется что подходящее" (а у нас уж и белья не хватало, тряпки половой в доме не было). Мака сходила и принесла домой сверток. Мы открыли его вечером. Сперва мы вытащили жилетку. Старую поношенную жилетку, с пятнами, и пуговицы не хватало. Из кармана торчал замусоленный карандаш. А потом что-то скомканное. Развернули: это была детская рубашечка. Вот тогда меня и прорвало. До того я слезинки не проронила. Сердце во мне оборвалось, зашлась я неистовым плачем. Мака, здоровая баба, дрожала как лист на ветру. Схватила она все это – и в огонь.

– Будь проклят, кто дотронется до этих вещей!

С первого дня Мака решила, что выкрадет меня в лес, к партизанам. Недели проходили в ожидании, и я ей не давала покоя: "Когда же – когда в лес?" Каждый день мы рисковали жизнью обе. Я хотела освободить Маку от этого напряжения, и будь, что будет: мое место с партизанами, на зимних стоянках в лесной глуши!

И наконец пришел срок: в одну зимнюю ночь выкрасились мы из местечка в поле, в лес. Мака шла впереди, а я метлой сзади заметала следы на снегу. Зашли глубоко в чащу, и Мака привела меня на полянку. Там я спряталась за кустами. В валенках, в трех платках. Сажу в сугробе и жду. Надо мной беззвездное небо, ни звука. Ушла Мака, и я осталась одна. "Сиди, придут за тобой".

День прошел, и сутки, и вторые сутки. Никто не пришел. И я начала застывать. Днем дятел долбил в чаще, а ночью кричал филин, и у меня не было сил подняться. "Вот, – думаю, – и конец пришел. Мака меня бросила". Вечером я услышала: кто-то идет. Темно, не вижу. И голос Маки: "Эй ты, не замерзла еще? Давай, давай живей!" Подала она мне бутылку горячего молока, подняла на ноги, а я шатаюсь, еле ноги переставляю. А дорога немалая. Идем, спотыкаемся, садимся. Опять идем. Шли часа два. Пришли на поляну, а там шалаш.

Лошадь привязана. И мужик в тулупе дубленом и башлыке. С автоматом. Партизан.

— Стой! Кто такие?

— Женщины, товарищ! — говорит Мака. Свои.

Мужик ближе подошел. Лицо молодое, иней на бровях и усах.

— За каким делом ночью шляется?

— Возьми ее в штаб, товарищ. Это еврейка, из гетто спаслась.

Мужик молчит. Нехорошо молчит.

— Возьмите меня... я вам пригожусь...

И он со злобой:

— Да что у нас, лазарет? На что ты нам понадобишься?

И к Маке:

— Забирай ее обратно, откуда привела! Сию минуту, чтобы духу вашего не было... вашу мать.

И поднял автомат. Я хотела лечь в снег. Пусть стреляет: на что жить и других мучить?

Мака не сказала ни слова. Посмотрела ему в лицо. Посмотрела на меня.

— Пошли домой, Галя.

Светало, когда мы проскользнули под забором на двор и вошли в теплую кухню. Смешно вспомнить. Съела я кусок сала с краюхой хлеба и легла в свою корзину, на мягкую подстилку, сытая, довольная. Да, это был дом: моя корзина, моя подруга Мака. После трех ночей в лесу я была счастлива, что снова лежу в корзине. Ничего больше не надо было: только спать, спать...

Когда вечером Мака вернулась с работы, я совсем пришла в себя. Мака с толстым задом, четырехугольная как комод, а я при ней, как кошка.

— Тебя, Галя, с крыши бросить, все равно на лапы встанешь.

Местечко обезлюдело. Тишина на пустых улицах, полиции было мало, и гестапо не показывалось. Это не Варшава, где охотились за людьми, там каждому в лицо смотрели, за каждой квартирой следили добровольные ищейки. А тут — народу



меньше и любопытных меньше. Весь 43-й год я лежала, схоронившись от света, за запертой дверью, в большой бельевой корзине, и никто не знал, что Мака прячет кого-то.

А Мака еще и дружбу завела с немцем. Был такой один солидный, спокойный военнослужащий, "цивильбеамте", в местечке. Дело женское. Мака не монашка. Перед его приходом мы выносили корзину в чулан, что при сенях. Чулан был холодный. Мака накрывала меня шубой, я запиралась на ключ и пережидала немца. Он уходил до рассвета. Я слышала, как он снимал засов на двери в сенях, и я же за ним закладывала этот засов... Потом я бежала к Маке в теплую настоящую постель... Я обнимала ее и душила, как любовник... Но она даже глаз не открывала со сна. Она спала спокойным, здоровым и крепким сном.

Испугались мы только один раз, когда пришла в Столин из деревни старая крестьянка Даша, которую мы обе хорошо знали. Даша принесла на продажу яиц и масла. Я лежала в корзине и слушала, как она разговаривает с Макой. Потом Мака вышла, а она осталась. Даша была преданный, свой человек, которому можно было вполне доверять. Но кто знает, как ведут себя честные и порядочные люди, когда их оставляют одних в пустой квартире?

Старая крестьянка посидела, повздыхала. Потом подошла к зеркалу и долго стояла пред ним; отворила флакон одеколона и понюхала; потом я услышала, как она выдвигает ящик комода, открывает шкаф... Потом она вошла на кухню и посмотрела, что находится в горшках... Оттуда она перешла в маленькую комнату, первую от сеней, где я лежала, и подошла к корзине... Я замерла. Старуха долго стояла над корзиной, как будто заснула над ней. Мне уже начало казаться, что ее нет в комнате, как вдруг она очень медленно и осторожно подняла крышку и заглянула.

Я лежала, подняв колени, на спине и не мигая прямо смотрела в наклонившееся морщинистое лицо. Мы не виделись года полтора. Лицо у меня было зеленое, глаза широко раскрыты, как у вурдалака. Даша постояла секунду, ничего не сказала и мягко опустилась на пол. Я вылезла из корзины,

перешагнула через нее и побежала в сени запереть наружную дверь.

Через четверть часа, когда вернулась Мака, мы заставили Дашу присягнуть над образом, что она будет молчать, как могила. Теперь в ее руках были наши две жизни. Мы ее настрашали, как могли. Даша была свой человек. Даша верила в Бога. Даша знала, что немцы войну проиграли. К этому времени их уже оттеснили за Днепр. И все-таки мы не могли преодолеть беспокойства от мысли, что кто-то третий знал нашу тайну.

Под конец я до того привыкла к своему заключению в корзине, что завела себе собачку, чтоб не скучать целыми днями одной в запертой квартире. Русские в это время были километров за сто от Столина. Маленький белый ласковый щенок бегал по квартире. Мака называла его "Малый", а я — "Тютик". Он привязался ко мне, привык к тому, что мое место в корзине, но не понимал, что это секрет для чужих. Днем он прыгал вокруг корзины, визжал и вилял хвостом. С Тютиком мне было приятно, но опасно. Если бы война затянулась, пришлось бы его убрать из квартиры. Но уже приближался 44-й год.

В начале 1944 года немецкая власть в Столине кончилась. Я ее пережила. Немцы отползали, как зверь с переломанным хребтом, и задолго до своего ухода они притихли, присмирели и перестали внушать страх. Разъехались главные хозяева. Исчезла немецкая жандармерия. Начали готовить население местечка к эвакуации. И Мака стала готовиться в дорогу: ей, польке, незачем было оставаться с большевиками. Ее дорога была в Польшу, на запад.

И вот опять пришла роковая ночь, со стрельбой пулеметов, с пальбой и движением обозов, с необычным шумом во всегда тихом местечке. Мы были с Макой уверены, что в город вошли партизаны или части Красной Армии. Рано утром Мака вышла разведать, что случилось ночью.

И вот я услышала русскую речь за окном. Меня обожгло:

нет сомнения, Столин занят русскими! Я выглянула осторожно в окно: солдаты стояли под дверью. Начали ломиться, стучать прикладами в двери: "Отворяй!" Я не думала ни мгновения, сняла засов, впустила солдат: "Входите, товарищи!" Серые шинели, папахи, русские лица. Как я давно не видела людей!

— Ты чего заперлась?

— Я боялась! Я одна в квартире!..

— От немцев, небось, не запиралась?

— Да что вы, товарищи! Да мы вас ждем, не дождемся! Вы наши освободители!

Один из них, чернобородый, высокий, подошел ко мне вплотную:

— Да ты за кого нас принимаешь?

Я молчу.

— Кто мы такие, отвечай?

— Известно кто: вы — советские, вы — русские солдаты.

И я оробела вся, ноги трясутся, ничего не понимаю.

— Мы не те, кого ты ждешь. Мы — власовцы.

А я не знаю, что это — власовцы. Первый раз слышу.

— Объясните, пожалуйста, я не слыхала про власовцев... И вся дрожу.

— Мы за Россию. Мы против колхозов и жидов.

Потемнело в глазах. Ничего не понимаю. Подходят другие: "Чего она плетет?" Но тот чернобородый — их командир — плечом отстранил меня:

— Завралась бабенка со страху. Иди-иди, собери нам поесть.

Я вышла на кухню, и Тютик за мной. Стою над горшками, и слезы сами льются. Страшный мир! Он не знает пощады. Вот и русские пришли, и они тоже против "жидов и колхозов". Некуда деваться. Командир вошел за мной.

— Чего реवेशь, дура? Если бы ты одна здесь красных ждала, да вот беда: здесь в каждом доме одно и то же слышишь. Всех не перестреляешь.

И тут понесло меня, как с горы.

— Убейте меня! Я жить не хочу! Я вам всего о себе не сказала!

— А, вот ты какая! А ну-ка, выкладывай все, как есть!

И я как рванусь:

– Я – еврейка!!..

Он зажал мне рот рукой: "Не кричи!" – и оглянулся. Прикрыл дверь из кухни, вернулся ко мне, подвинул табурет.

– Не волнуйся, садись, рассказывай, как уцелела. И не бойся меня.

И принялась я ему рассказывать всю историю, с самого начала: как Мака меня спасала, и как я в корзине полтора года прячусь. Рассказываю и реву. Платка не было. Лежала стирка на столе. Я одним концом утираю слезы, а он другим.

Командир плачет, как малое дитя.

– Если она тебя спасала, значит, ты этого стоишь. Если до сих пор не погибла, значит тебе судьба жить. И мы тебя не тронем.

Снял он с шеи крест и протянул мне.

– Я простой человек, верь, я тоже жить хочу, вернуться к жене и детям. Думаешь, весело нам с немцами против своих идти? Судьба нами играет, а все, чего мы хотим, – это мира, мира для всех, на своей земле, без насильников. Возьми этот крест, мне жена его дала, он меня доньне уберег и тебя убережет от гибели. А мне взамен дай, что хочешь – на память.

И нечего было дать ему. Я взяла колечко Маки – простое колечко с голубым камнем – и отдала ему. Оно ему и на мизинец не годилось.

Тут Мака ворвалась на кухню с великим криком: "Кто вам позволил сюда вломиться, хозяйничать?" Увидела меня с командиром и обомлела, язык у нее отнялся.

Власовец подошел к Маке, обнял за плечи: "Я все знаю, ты – богатырь-баба. Таких мало на свете. А только смотри, пусть Галя вперед язык на привязи держит. А то чуть-чуть беда не случилась. А ждать вам недолго: советские войска под Высоцком".

Несколько дней позже Мака уехала из Столина. Местечко опустело. Одни дряхлые старухи остались, а кто не хотел эвакуироваться, тот попрятался. Ходили по домам проверять,

кто остался. Запираться нельзя было, дверь нашего дома стояла настежь. Мака оставила мне запас еды, а место, чтобы прятаться, устроили в дымоходе: я залезла в печку, подтягивалась и сидела в трубе, как кура на насесте. Сидела я так всю неделю... Кругом было пусто и жутко, — ни души, как на необитаемом острове. И только Тюттик носился вихрем по опустелому двору и лаял, не понимая, куда все люди пропали.

На развалинах трех царств, над гробами, над брошенными домами, над улицами, где валялась кинутая домашняя рухлядь, над хаосом разорения, над одичалой страной, — и она, как бездомный пес, ждала нового хозяина, готовая на пинок и на ласку — сидела я высоко в трубе, и если бы кто-нибудь подсмотрел меня, он мог бы принять меня за ведьму из сказки, готовую взмыть на помеле в ночное небо.

Но я была всего только Галя — маленькая и худенькая девушка, легче перышка, которая отлично помещалась в корзине, размером в один метр на шестьдесят сантиметров.

На седьмой день я услышала лай Тюттика, кто-то звал его "Малый, Малый!" Так звала его только Мака. И действительно, она уже стояла на кухне под печью и кричала в дымоход:

— Не подохла еще? Спускайся скорей!

И я вылезла, черная как трубочист, с копной грязных волос, которые торчали во все стороны, и с носом в саже. Я вылезла не сразу. Сперва свесились мои ноги и болтались в воздухе, ища опоры, пока Мака не схватила их и не потянула вниз. Тогда я обрушилась в облаке копоти и гари, в клубах сажи и черной угольной пыли, как настоящая ведьма, и уселась на печке, чихая и глядя на Маку. Она хохотала.

Боже, как она хохотала!

Она держалась за бока, и слезы текли у нее по щекам. Расставила толстые ноги и скорчилась в три погибели, открыла рот, и лицо у нее покраснело. Она надрывалась от сумасшедшего смеха. Всю утробу у нее вывернуло, щелочки глаз пропали и она гоготала так, как будто ничего в мире не случилось, и мы снова были маленькими детьми, как в те годы, когда, чтобы прыснуть, довольно было посмотреть друг другу в глаза.

Тогда, глядя на нее, я тоже начала смеяться.

# ЦВИ ЛУЗ

## БРАТЬЯ

Рассказ

*Перевел с иврита  
И. Ливни*

Я был младше моего брата Гада на четыре года, и отец назвал меня Ашер. Так написано в Библии: вслед за сыном Иакова — Гадом шел Ашер. Отец с самого детства очень любил Библию. На Украине мало кто смог сравниться с ним в знании еврейской старины, истории и географии. Нашу младшую сестренку он назвал Диной, в честь дочери праотца Иакова.

”Будь у меня четыре жены, как у Иакова, — говаривал он матери за ужином, — я бы тоже произвел на свет двенадцать сыновей. Я бы породил двенадцать новых колен”. Но ему пришлось довольствоваться тремя детьми.

Дина была младше меня на семь лет. И в детские годы, и в юности я не обращал на нее никакого внимания. А вот мой старший брат Гад был для меня, как пророк Илья для молодого Елисея. Гад был светлее меня, его волнистые волосы напоминали невысокие холмы Иудеи. Лицо его всегда было покрыто загаром, даже зимой. Шея у него была тонкая, но крепкая и мускулистая. На больших руках всегда синели синяки и багровели ссадины. Я же, к моему глубокому сожалению, был смуглым, узкоплечим, с тонкими длиннопальными руками. Мать всегда повторяла, что я рожден свободным художником. С детства я был ее гордостью, а Гад был гордостью отца.

”Мама, если я выпью два стакана какао, вечером и утром, — спрашивал я мать, — я буду таким же высоким, как Гад?” Мать снисходительно улыбалась, и я никак не мог понять, почему она не хочет, чтоб я стал таким, как Гад. Во мне она видела Ашера и только Ашера.

На заднем дворе нашего дома по улице Борохов отец построил из обломков кирпича, досок и цемента карту нашей страны. Эта большая карта — метр на два — была выкрашена масляной краской и отличалась высокой точностью. Гад налил воды в "русло Иордана", в "Кинерет", в "Мертвое море". Он соединил каналом Средиземное и Мертвое моря и собирался пустить по этому каналу военный флот...

Это все было в середине 30-х годов, в спокойные времена британского мандата. Отцовская карта включала, между прочим, и восточный берег Иордана — Трансиорданию. Отец и Гад обозначили на Гилеадских горах, в стране Башан и на Голанских высотах города-убежища, вошедшие во владения колен Реувена, Гада и половины Манассии, по определению Моисея, записанному в книге Левит.

Там, на заднем дворе, в тени лимонного дерева, отец позволил Гаду, своему первенцу, играть с маленьким пистолетом системы Браунинг, полученным от Хаганы. Он учил его вставлять магазин, открывать предохранитель и взводить затвор. Гад ловко управлялся с оружием. Но мне, малышу, отец запретил даже прикасаться к пистолету, и я должен был благодарить за то, что мне дали только поглядеть на Браунинг...

"Ничего, Ашер, — успокаивал меня Гад, — твоя очередь еще придет".

Когда Гад играл в футбол со своими сверстниками на стадионе Зайдмана, я всегда стоял в стороне и подбадривал его своими криками. Рядом со мной стояли другие болельщики; мы "болели" либо вместе, либо порознь. Гад и его "взрослые друзья" устроили себе стадион на этом месте, несмотря на то, что подрядчик Зайдман запретил им даже показывать нос на участке, отведенном под строительство. Когда приезжали машины со стройматериалами, они разгружались прямо на стадионе или чуть поодаль. Площадка была хорошо укатана колесами, и на ней не росли колючки. Вокруг стадиона были навалены грузы: листы железа, трубы, битый камень и мешки с цементом. А посередине была открытая площадка, и на ней играли в футбол.

”Господин Зайдман, — говорил отец, — большой спекулянт. Строительные материалы он скупает для спекуляции. Он заработал массу денег на спекуляции цементом — это кроме того, что получил от британской армии за те ужасные бараки, что он для нее построил”.

То было время войны с нацистами. Гад внимательно следил за ходом войны: в западной пустыне, в Тихом океане, в Восточной Европе. Он читал в газете, которую приносил отец, статьи против тех, кто наживался на войне, ругательные статьи в стиле гневных пророчеств из Библии.

На стадионе мой брат шептался со своими друзьями о черных делах подрядчика Зайдмана. По его мнению, Зайдман был антисемит и предатель. Ребята решили устроить ему скорый военный суд. Верховным судьей назначили Гада. После того, как было заслушано мнение присяжных заседателей (членов соперничающих футбольных команд), Гад признал обвиняемого виновным и тут же, на месте, решил привести приговор в исполнение. Собственными руками он собрал обломки досок, стружку и рейки, вытащил из кармана коробку спичек и вопросительно взглянул на своих друзей. Я не сразу понял, что он собирается делать, но Гад не тянул долго.

”Этим я привожу в исполнение решение суда во имя страны и народа”, — сказал он и поджег стружку. Сначала не было ничего, кроме маленького язычка пламени. ”Бежим! В апельсиновую рощу!” — приказал он. Мы перебежали через дорогу и спрятались в ближайшей роще. Укрывшись за кустами, мы наблюдали за перепуганными соседями из нашего рабочего квартала и из соседнего, торгового. Все они кричали, размахивали руками и бежали туда, где десять минут назад было футбольное поле. Множество любопытных толпилось вокруг площадки и равнодушно глазело на пожар.

”Удалось!” — прошептал Гад. Мы все вместе укрылись в глубине рощи: нам следовало на время исчезнуть с горизонта. На этот раз Гад не отослал меня домой...

Вечером, за столом, отец сказал матери: ”Зайдман не потерпел убытков из-за пожара. У него все застраховано, до



последней щепки”. Гад не подумал о такой мелочи, как страховка. Ему достаточно было осознавать себя мстящей десницей еврейского ишува.

Ночью я сказал: ”Сейчас я могу пробраться туда и поджечь вторую кучу”. ”Молчи, — сказал Гад, — подожди, пока придет твоя очередь”.

Через несколько лет, когда я с моими сверстниками играл в футбол на том же месте, на том же стадионе Зайдмана (сторожу никак не удавалось нас прогнать, и следы пожара еще не стерлись), Гад был уже членом Хаганы. Он не смотрел на наши игры, не ”болел”, не делал замечаний. Младшие братья не подбадривали нас криками. Мы не творили суда и расправы над спекулянтами во имя страны и народа, потому что война уже кончилась.

К этому времени Гад успел закончить среднюю школу с сельскохозяйственным уклоном (отец стремился сделать из него настоящего халуца). Иногда он исчезал надолго, и отец с матерью шептались о подпольных курсах, походах и смелых вылазках. Мы никогда его ни о чем не спрашивали, потому что он все равно не отвечал. А когда он жил дома, то выходил рано утром и возвращался поздно ночью. Вернувшись, он заглядывал на кухню и ел с мрачной жадностью. Мать нарезала ему толстые куски хлеба, намазывала их маргарином, и Гад проглатывал их с удивительной быстротой. Ночью он всегда брился и готовился к завтрашнему дню. Я никогда не засыпал до его прихода. Когда он, раздевшись, бросался на кровать, я его спрашивал: ”Как дела, Гад? Мне ты можешь все рассказать, я не мама”. ”Пока все в порядке”, — коротко бросал Гад и вздыхал. И, хотя он мне этого не говорил, но я и сам понимал: ”Куда ты прешься? Твой час еще придет”.

К сожалению, Гад сначала вообще отказывался беседовать со мной. Он всегда засыпал раньше меня, и, в темной комнате, я прислушивался к его размеренному дыханию. Утром я вскакивал с постели, чтобы увидеть моего брата перед уходом, но его уже не было. На кухне стоял стакан с недопитым кофе... С тех пор я требовал, чтобы мать давала мне вместо какао черный кофе. Она готовила мне слабый кофе с молоком, и

молоко было для меня оскорблением. С тех пор, как я вышел из-под материнской власти, я никогда не пил кофе с молоком.

В это время меня мобилизовали в Гадна. Мой старший брат был уже ветераном Пальмаха и почти не появлялся дома. Как мне хотелось услышать его замечания по поводу моей формы цвета хаки, широкого военного ремня и высоких английских ботинок! В особенности мне доставало его одобрения по части увесистой дубинки, сработанной отцом из ветви лимонного дерева, что росло в нашем дворе, и предназначенной для упражнений "бой лицом к лицу". Гад не видел и даже не догадывался, как я приблизился за последнее время к своей цели: быть таким, как он. Я окончательно решил: во что бы то ни стало догнать моего брата, и тогда мы двинемся вперед вместе, плечом к плечу. Но все-таки, в глубине души, я не был уверен, что мне это удастся.

1946 год. По слухам, ходившим по нашей улице, из ночных перешептываний отца и матери я заключил, что мой старший брат участвует в операциях подполья. В ночной тишине, сидя на кровати, я сопоставлял факты и намеки, сообщения газет и новостей радио и сочинял романы о подвигах моего брата. Я представлял его одетого в рубашку-хаки с большими карманами, в которых было полно записок, написанных секретным шифром, в коротких голубых штанах, перепоясанных широким ремнем, в высоких ботинках, с обнаженными загорелыми икрами. Я представлял Гада во главе взвода, тихо пробирающегося по горным дорогам к британским военным объектам, или на берегу моря, во главе отряда подпольщиков, высаживающих с корабля нелегальных эмигрантов. Тогда я считал англичан главными врагами. В один из визитов Гада (он почему-то пришел в белой, с закатанными рукавами рубашке и в длинных брюках), когда мы остались ночью наедине в нашей комнате, я признался ему в своей глубокой ненависти к англичанам. Он сказал коротко:

— Не забывай, англичане победили нацистов.

— Но сейчас мы боремся против них, — сказал я. — Ведь они против нас!

– Мы не воюем против Англии, – сказал Гад, – мы боремся с ее ошибками.

Я не смог ему возразить.

Когда я был в одиннадцатом классе, Гад жил в одном из кибуцов Изреэльской долины. Он жил там всего полгода, но мы успели его посетить – я и моя подруга.

Она училась со мной в одном классе, и ее звали Дрора. Два года мы любили друг друга платонической любовью в стиле 40-х годов: вместе ходили в молодежную организацию, вместе выезжали на природу, беседовали о “положении”, о концертах, о книгах. Дрора была красива. Рыжеволосая, она одевалась и причесывалась, как мальчик, и это еще больше подчеркивало ее женственность. Я до сих пор не представляю, как выглядит ее тело под одеждой. А тогда я был наивен, как дитя пионеров из третьей алии. Дрора приходила ко мне, и мы готовили вместе уроки, читали книги или вели долгие беседы. Когда мы сидели за столом, ее локоть прикасался к моему, но я почему-то всегда отдергивал руку и продолжал говорить с пафосом о великих вещах. Вечером я провожал ее домой. На нашей улице в те времена было великое множество укромных мест. Мы всегда проходили мимо них, не прекращая наших высокопарных бесед. Даже у порога ее дома, возле маленькой железной калитки, мы продолжали говорить. К стыду моему должен признаться: я не поцеловал ее ни разу. Каждый раз, когда предоставлялась возможность, я не думал об этом, а когда начинал думать, было уже поздно.

Дрора очень любила мою сестру, Дину. Малышка тоже была очень к ней привязана. Когда мы сидели за столом, заваленным книгами, она заявлялась и усаживалась Дроре на колени. Так и сидела она весь вечер, прислушиваясь к нашему разговору.

На пасхальные каникулы мы вместе поехали к Гаду в кибуц. Днем он был занят, и мы бродили по живописным окрестностям. Вечером он освободился. Втроем сидели мы на скамейке в тени фикусов. Гад смотрел на Дрору с нескрываемым восхищением, и она отвечала ему тем же. К моему удивлению, он вел себя не так, как обычно: стал вдруг рассказывать о былых делах. Не о себе рассказывал, а о

“парнях”. Но мы почему-то представляли только его одного, светловолосого и загорелого, совершающего все эти подвиги.

Ночью я остался один. Гад отправил меня в комнату и исчез с Дророй в темноте. Комната в бараке принадлежала ему и еще одному парню, который принял меня довольно приветливо. Мы сидели и говорили о моем старшем брате, говорили до тех пор, пока Гад и Дрора не вернулись. На следующий день мы уехали. Дрора не сказала мне ни слова. Весь тот год она продолжала приходить ко мне, ходить вместе со мной в молодежную организацию и, кроме того, стала интересоваться делами нашей семьи. Иногда она спрашивала о Гаде. Я сообщал ей о каждом его письме. Дрора заставляла меня рассказывать о том, каким был Гад в детстве. Я рассказывал ей о бетонной карте на заднем дворе, о пистолете системы Браунинг, о футбольной команде и о большом пожаре на стадионе Зайдмана. “Гад — первенец, и поэтому лидирует. Я бегу за ним, но в конце концов догоню его”. До конца учебного года продолжался последний период относительного затишья. Между мной и Дророй продолжалась платоническая любовь. Мы копили воспоминания и впоследствии часто беседовали об этих днях и о себе.

Тем летом Гад неожиданно вернулся из Пальмаха и “что-то делал в городе”. Он не жил дома и, кроме несчастных визитов, не показывался. Мы не знали о нем ничего. Раз в неделю он приезжал домой на мотоцикле, ужинал, беседовал с отцом о политике (было лето 1947 года). Мы, в молодежной организации, тоже ждали чего-то великого. Больше всех волновалась Дрора. Она не пропускала ни одного выпуска и слушала подпольную радиостанцию “Голос Иерусалима”.

Моя комната стала местом встреч между Гадом и Дророй. В те вечера, когда Гад бывал дома, после ужина он бросал нам через плечо “скоро вернусь”, садился на мотоцикл и делал несколько кругов по нашей улице. Проезжая мимо дома Дроры, он каждый раз нажимал на клаксон. Она выходила из дому, шла к нам. Ее родители ничего не подозревали. При мне Гад обнимал ее (со мной она никогда не обнималась). На глазах родителей уводил ее в ближайший пардес или в пески,

или, может быть, увозил на юг Тель-Авива, где снимал комнату. Когда они выходили из дома, я следил за ними, пока доставал взгляд. Иногда, когда у Гада не было времени, он водил ее на задний двор и сидел с ней на скамейке под лимонным деревом. Было очень темно, но смех Дроры доносился в мою комнату.

В мае 1948 года Дрора была официально обручена с моим старшим братом. К моему удивлению, они сделали это как заурядные буржуи: она представила его своим родителям, а они, со своей стороны, пришли к нам наглаженные и начищенные, как в субботу.

Дрора продолжала ходить ко мне, и мы по-прежнему вели длинные беседы и готовились к экзаменам на аттестат зрелости. Мать всегда принимала ее, как родную дочь. Отец улыбался ей поверх газеты и заставлял принимать участие в бесплодных поисках общности между эпохой пророков и нашим временем.

Гад и Дрора поженились после первого прекращения огня в войне за Независимость. Церемония была устроена на заднем дворе нашего дома — свадьба военного времени. Официальностей было мало — зато много гостей и разговоров. Гад тогда уже командовал взводом в батальоне Пальмаха. Весь взвод явился поздравить жениха и невесту: компания худых и загорелых парней, бородатых и пыльных. Они уничтожили угощение до последней маслины. "Волчий аппетит", — хладнокровно заметил отец. На следующий день Гад с молодой женой уехали на юг, туда, где сражался взвод.

Вместе со сверстниками я был мобилизован в молодую израильскую армию. Во время коротких отпусков домой, в новой форме, с оружием в руках, загорелый и окрепший, я стал чувствовать в нашем старом доме какие-то изменения, непонятные, но значительные. Как будто бы двор стал меньше, дом уменьшился, меньше стали ростом родители. И главное — без радости, без удивления и без сожаления — я почувствовал, что настигаю моего старшего брата. Однажды, на одной из случайных встреч (оба в форме, оба понюхавшие пороху),

сказал мне Гад: "Вот и пришла твоя очередь, Ашер, а ты все годы спешил. К чему была эта спешка?"

Конец 1949 года. С первой демобилизацией освобожден из армии Гад. Дрора была беременна, и они сняли комнату в брошенном доме в Яффо. Я часто навещал их. За это время я успел закончить офицерские курсы, и мне казалось, что мой брат в своей гражданской одежде, со своими домашними заботами стал меньше, а Дрора по сравнению с ним выросла. Моя бывшая подруга, взволнованная идеалистка, превратилась в домашнего тирана. Зимой 1950 года она родила Гаду первую дочь, Ронит.

С моим братом происходило что-то странное. После демобилизации им овладела спешка. Он стремился "успеть", как будто у него не оставалось времени. Он нашел работу в министерстве сельского хозяйства и в то же время начал учиться на сельскохозяйственном факультете университета. Ему был выдан старый джип, и он носился на нем со страшной скоростью по проселочным дорогам новых поселений. Из министерства он спешил в лабораторию, а оттуда — домой, к жене и дочери. Гад был полон нетерпения и беспокойства, как будто кто-то за ним гнался. Дрора была требовательной женой. Прекрасные идеалы улицы Борохов были забыты, и она часто устраивала Гаду сцены в моем присутствии, потому что абсолютно меня не стеснялась.

Но все же (иногда с большим трудом) я видел моего старшего брата, бегущим впереди меня к неизвестной цели, а я плелся за ним — хотел я этого или нет...

Семь лет вел Гад свою гражданскую жизнь с женой, дочерью и сыном Итамаром. Успел купить квартиру на севере Тель-Авива, успел с отличием закончить университет, получить ответственный пост в министерстве сельского хозяйства, съездить с Дророй в Европу и погибнуть в Синае в 1956 году. Он был тогда командиром пехотной роты, штурмовавшей египетские укрепления в районе Газы, и в рукопашной схватке получил пулю в живот.

Прямо с фронта я поехал на похороны. Гада хоронили в братской могиле. Его жена Дрора, та, что в далекие дни была

рыжеволосой девушкой, побледнела и надломилась. Она кусала губы и вела себя, как положено жене старого бойца.

С тех пор прошло девятнадцать лет. По моим расчетам я обогнал моего брата на 15 лет. Ему было тридцать лет, а мне скоро исполнится сорок пять. И не только годами я его опередил. Мне пришлось отвоевать еще две войны: "Шестидневную" и "войну Судного дня". В каждой войне я был уверен (и без страха), что на этот раз, наверное, догоню моего брата. Он ведь всегда говорил: "Твоя очередь придет..."

Эту мысль я не высказал никому – ни моим друзьям, ни моим солдатам и, конечно же, скрыл ее от родителей, которые по-прежнему живут в том же доме, на той же улице. Я не говорил об этом с моей женой и детьми и даже с Дророй, вдовой моего старшего брата, с которой я часто говорю о смерти вообще и о смерти Гада, в частности. – Это – тема, о которой человек говорит сам с собой, своего рода секрет и даже сострадание к самому себе. Шанс быть убитым не пугает. Но в то же время я верю, что, несмотря на войны, не скоро догоню моего старшего брата. Расстояние между нами увеличивается. Гад бежит и удаляется, удаляется и бежит к темному горизонту. Он исчезает, не оставляя за собой следов. И я семеню вслед за ним по прекрасным дорогам нашей горькой страны.



Цви Луз родился в одном из старейших кибуцов страны "Дгания-Бэт". После службы в ЦАХАЛе участвовал в создании кибуца Иотвата в пустыне Арава, между Мертвым морем и Эйлатом. Затем Цви Луз окончил университет Бар-Илан и поехал в Иорданскую долину работать преподавателем литературы в гимназии. Уже более 20-ти лет он занимается также литературным творчеством.

Цви Лузу 46 лет. Он успел пожить в разных районах страны, но в своих произведениях всегда возвращается к местам, где вырос. И в его последнем произведении – трилогии "Местные предания" – главные герои – это земледельцы-кибуцники, знакомые автору с детства.

СИМОН МАРКИШ

## НЕ ЗАЖМУРИВАЯСЬ

(заметки еврея)

Я все это слышу с детства  
И скоро совсем постарею,  
А вот никуда не деться  
От крика: евреи! евреи!  
(Борис Слуцкий)

*Статья Солженицына "Жить не по лжи" – самое замечательное в его публицистике и, наверное, во всей советской публицистике в целом. (Я не оговорился, сказав "в советской": Солженицын рожден советской жизнью и принадлежит советской литературе – это такая же реальность, как существование самой советской культуры, в которую входят не только Грибачев, Соловьев-Седой и Федин, но и Пастернак, Надежда Мандельштам, Эрнст Неизвестный). Восхищаясь талантом, мужеством, но, главное, великой нравственной силой Солженицына, мы, благодарные его читатели, не вправе откликнуться на его же призыв, не вправе не высказать с полной искренностью, ничего не тая, тех мыслей, которые рождает чтение последних произведений писателя. Мы не вправе зажмуриваться трусливо, даже если правда огорчительна. Жить иллюзиями, жить зажмурившись – советская привычка, и к тому же совершенно необходимая: разжмуришься, оглянешься – и волком вой, голову разбей об стену. Но мы на свободе, мы не в пределах "одной шестой"; попытаемся же высказаться со всей широтой и беспристрастностью, какие нам дает наша свобода и удаленность от советских страстей и страхов.*



*Солженицына начали обвинять в антисемитизме едва ли не сразу же после выхода в свет "Ивана Денисовича". Не напечатанный в СССР, но бойко ходивший в рукописях, "Первый круг" подлил много масла в огонь. "Архипелаг ГУЛаг" вызвал к жизни чуть ли не целую литературу на этот сюжет, как*



обвинительную, так и апологетическую. А теперь – "Ленин в Цюрихе", который дает новую и достаточно обильную пищу для размышлений.

Мне кажется, что, в отличие от слухов о еврействе Солженицына и "самиздатовских" писем, обвинявших его в "стачке с сионистами" (см. публикацию М. Агурского в "Новом журнале", кн. 118), антисемитский козырь не был пущен в игру с кагебистских или каких-либо иных верхов. Говорю об этом потому, что во время процесса Синявского–Даниэля "общественные обвинители" и газеты наперебой толковали об антисемитизме Синявского: советская власть, когда ей выгодно, любит выставить себя другом и защитницей евреев. Но, перечитывая сегодня "доавгустовского" Солженицына, понимаешь отчетливо, насколько типично советскими были эти опасения и обвинения. Автор вывел в романе жулика-продавца, значит, он клеветает на работников советской торговли. Интеллигенция издевалась над такой логикой критиков на жаловании, но ей же и следовало, упрекая Солженицына за не слишком симпатичный образ Цезаря Марковича, в котором "всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган" (1,25: ссылки на "Ивана Денисовича", "Раковый корпус" и "Первый круг" даются по "Собранию сочинений в шести томах", Франкфурт-на-Майне, 1970). Мы не в состоянии были понять, что явился среди нас писатель, для которого правда – и как частный ее случай, правда художественная – выше всех иных соображений. Мы слишком привыкли к тому, что "прогрессивный писатель" (как уже тогда между собою называли и, если не ошибаюсь, продолжают называть и сейчас либеральных, т. е. не тупо советских и не черносотенных литераторов) не позволит себе изобразить еврея-прохвоста: это было бы в духе официального антисемитизма и могло бы всерьез повредить прогрессивной репутации. Но мы не подозревали еще, что Солженицын смешает и спутает наши смутные понятия о "прогрессивном" и "реакционном", потому что его мерки – не наши, потому что впервые в советскую литературу пришел человек с мировоззрением, со своим мировоззрением, который не задумается посягнуть на наши табу и правила игры.

Впрочем, Цезарь и не прохвост, он просто обыкновенный "придурак" и даже полезен бригаде на своем придурачном посту помощника нормировщика: "уважителен к нему бригадир, зря бы не стал" (1,65). А что он "богатый", что получает дважды в месяц посылки из дому, а Иван Денисович "горбит на общих" – иначе по замыслу повести и быть не может: уже в первом своем напечатанном произведении Солженицын настойчиво внушает, что главной жертвой непрекращавшегося с октября 1917 года террора был народ, а не интеллигенция или "старая ленинская гвардия", или партия в целом, как нередко казалось и самим пострадавшим, как охотно, хотя и намеками, утверждали присяжные разоблачители "культы личности". И это не только правда – это укор в безнравственности, брошенный и живым, и погибшим, всем, кто в близоруком своем эгоизме не замечал, как распинают других, как погубили миллионы крестьян, не замечал до тех пор, пока не сел сам или не потерял родных. В "Раковом корпусе" и в "Круге первом" Солженицын сформулирует этот упрек уже вполне четко и повторит не раз.

Перечитывая "Ивана Денисовича" сегодня, через 13 лет после первого знакомства, глазами, читавшими "Письмо вождем" и "Раскаяние и самоограничение",\* несравненно полнее зная взгляды и убеждения автора, его консерватизм и национализм, его русский изоляционизм (подчеркнем самым решительным образом: понятия эти никак не оценочные, а только описывающие), все равно нельзя утверждать, будто Цезарь был выпадом против "чужеродных" (слово солженицынское: "Из-под глыб", стр. 131). Он чужеродный, инородец не происхождением, а, говоря условно, социальным положением. Его не "турнули в народ... вырабатывать норму" (1У, 543), как Глеба Нержина, героя "Круга первого", но он откупился от этого не

---

\*Хочу воспользоваться случаем, чтобы указать на ошибку, которую допускает Солженицын по незнанию греческого языка и Евангелий в оригинале. Он пишет: "...metanoia" (самоосуждение, самопроверка, от Булгакова же и взято, из 1910 года...), ("Из-под глыб", Париж 1974, стр. 130). В действительности, и глагол *metanoieo* и существительное *metanoia* – новозаветные термины, означающие соответственно "покаяться" и "покаяние". Не от Булгакова это взято, а, по меньшей мере, от Иоанна Крестителя (Мат. 3,2).

чужою кровью, не предательством, не "стуком", а взятками из посылок ("всем сунул, кому надо" – 1,37). Не было бы посылок – попал бы "на общие" и он и, возможно, стал бы скоро "доходягою" или лагерным шакалом, или даже стукачом, но, возможно, набрался бы нержинской мудрости и чистоты, и барьер чужеродности рухнул бы, развалился. А с другой стороны, будь Нержин в каторжном лагере с номерами и приходи ему дважды в месяц щедрые дары родных с воли, вполне возможно, что и он не остался бы "на общих" из принципа и тоже "сунул" бы всем, кому надо. Тем более, что принципы и у Нержина, и у его прототипа Солженицына были на пороге их лагерной карьеры не слишком твердые ("Архипелаг ГУЛаг", части 1–11, Париж 1973, стр. 168 сл.).

Нет, обвинять "Один день Ивана Денисовича" в антисемитизме даже самый чувствительный еврей не должен.

Нет и намек на антисемитизм в "Раковом корпусе". В нем нет и евреев, не считая мелькнувшего секундно врача-рентгенолога Рабиновича. (Еврейство главврача Льва Леонидовича – домысел кагебистских юдофобов или все тех же чувствительных евреев, неисцелимо страдающих комплексами диаспоры). Но есть в нем повышенный интерес к национальности; первый признак, по которому определяется человек, – это именно его национальность, и не только у нелюдей Русановых, но и у Костоглотова (11,78,84,85,298,579). Однако здесь сказывается не национализм Солженицына по преимуществу, а советская система мерок и оценок. (То же – и в более поздних сочинениях, и вполне органично, бессознательно даже. Так, в 61 главе "Августа" Солженицын упоминает, что Архангородский одевался у лучшего в Ростове "портного-армянина". Зачем это "уточнение", кому оно нужно, что дает? Ничего! А вот упомянулось же!).

Впервые, по сути дела, еврейская тема возникает лишь в "Круге первом". Второй главный герой романа – еврей Лев Рубин, фигура, бесспорно, близкая и дорогая и Нержину, и Солженицыну, несмотря на фанатическую верность партии и коммунистической идеологии, нимало не поколебленную арестом и тюрьмой; но дарования и человеческие качества Рубина

таковы, что, прощаясь перед этапом, Нержин говорит ему: "...Сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты – один из самых мне... из самых..." – Его голос переломился" (1У,768). Нет нужды перечислять эти качества; каждое в отдельности и все разом они как маслом по сердцу чувствительному еврею, ножом по сердцу антисемиту.

Отнюдь не отталкивающее впечатление производит и майор МГБ Адам Ройтман, во всяком случае – не в большей мере, чем его начальник и враг полковник Яконов, русский. Еврей, вроде бы, даже и получше. Опять триумф юдофилов и конфуз юдофобов.

Зато надзиратель Шустерман много хуже надзирателя Неделишина (правда, добродушный Неделишин подслушивает все разговоры арестантов и исправно доносит "куму". А заключенный Исаак Коган "стучит" на товарищей по тюрьме (правда, тот же Исаак Коган сел за отказ "стучать" на воле). Теперь, вроде бы, очередь конфузиться юдофилам.

А в целом все же баланс для евреев положительный.

Теперь плюнем на этот баланс, составленный по образцам советской критической мысли в ее официальном варианте и для образца же и представленный, и взглянем на дело всерьез.

Ни Рубин, ни Ройтман не имеют никаких еврейских примет, кроме чисто внешних: "пышная борода еврейского пророка" у Рубина (111,16), "негритянски оттопыренные губы на продолговатом умном лице" (1У,604), картавость, "в произношении досадные недостатки" (1У,589) у Ройтмана. Во всем остальном они совершенно ассимилировались, обрусели в советском "мелтинг пот". И все же – остались евреями. Вынуждены были остаться, сами не понимая, почему. Рубин недоуменно вопрошает: "...Я – еврей не больше, чем русский? И не больше русский, чем гражданин мира?" (111,28). Ройтман, было, и "думать забыл", что он еврей (1У,591), но приходит "космополитская кампания", и ему грубо напоминают, кто он такой. "Главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть своим, таким, как все, – а тебя не хотят, отталкивают, говорят: "Ты – чужой. Ты – неприкаянный. Ты – жид" (1У,588). Это – общая и самая емкая формула трагедии

ассимилированных евреев, в том числе и Рубина, хотя он, скорее всего, не рвался в свои, подобно Ройтману, а просто считал себя своим, как все, но вот пришла пора и вдруг – засомневался. Самое любопытное, что ни тот, ни другой не сомневаются в правоте тех, кто их отвергает, извергает из числа "всех", причисляет к чужим. Приведу одну чрезвычайно поучительную параллель из времен гораздо более близких. В 1970 году власти устроили пресс-конференцию "дрессированных евреев" (так ее сразу же окрестили): около полусотни людей типа Рубина, только всесоюзно, а то и всемирно известных, вроде балерины Майи Плисецкой, клялись публично, да еще перед телевизионными камерами, что евреям в СССР живется привольнее и вольготнее, чем где бы то ни было еще на земном шаре. Были, разумеется, добровольцы, которые охотно приняли участие в этом невеселом фарсе, большинство упиралось, и их пришлось уговаривать, а кое-кого и поугагать, как следует, но были и такие, что не испугались угроз. Отказываясь, приводили аргументы самые разнообразные, от "занят" до "катитесь к черту", но нашелся лишь один, который заявил: "Простите, но вы обращаетесь не по адресу – я не еврей, я русский интеллигент". – "Как? Но ведь у вас в удостоверении личности значится: еврей!" – "Ну, это для статистики, для милиции, а не по сути. По сути вещей, я русский интеллигент". Так и не уговорили. Я думаю, что этот человек – старый философ Михаил Лифшиц, ученик Георга Лукача и, по собственному суждению, единственный и последний подлинный марксист в России – отвечал искренне то, что думал, а не просто изловчился найти хитрую лазейку. Но ведь этот ответ – самый простой, самый естественный, так думает и могла бы ответить добрая половина "дрессированных", если не больше. Но – не ответила, язык не повернулся. Почему?

Адам Ройтман размышляет: "Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств – всегда есть разумное (или псевдоразумное?) обоснование, всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но – национальность?.." (1У,588)

*И сразу же следом:*

*”Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману: ”Но соципроисхождения тоже не выбирали? А за него гнали”.*

*Теперь становится яснее: из сферы описания, по-солженицынски беспощадно точного, мы переходим в сферу авторских толкований. Тем более, что чуть выше сам Ройтман вспоминает: ”Ведь в революции и еще долго после нее слово ”еврей” было благонадежнее, чем ”русский”. Русского еще проверяли дальше: ”А кто были родители? А на какие доходы жили до семнадцатого года?” Еврея не надо было проверять: евреи все поголовно были за революцию, избавившую их от погромов, от черты оседлости”. Выходит так: в 1950 году евреи расплачиваются за то, что в 20-е годы им было лучше, чем русским, что национальность заменяла им социальное происхождение. Коллективная вина, за которую они ныне несут коллективную ответственность.*

*Я не ставлю себе целью спорить с Солженицыным, уличать его в нелогичности или в ошибках против истории, хотя в данном случае это было бы элементарно просто (обнищание, унижения и мытарства сотен тысяч еврейских мелких торговцев и предпринимателей из бывшей черты оседлости засвидетельствованы советской статистикой 20-х годов; чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в известную книгу Юрия Ларина ”Евреи и антисемитизм в СССР, Москва 1929). Моя цель — понять и оценить его позицию со своей, еврейской (антиассимиляторской и сионистской) точки зрения, иначе говоря — ответить на чисто практический вопрос: если бы Солженицын или его единомышленники пришли к власти в Советском Союзе, что бы это означало для евреев? Идея коллективной ответственности и коллективного покаяния, чрезвычайно важная для нас, евреев (ведь именно в силу ”коллективной вины” за распятие Иисуса Христа распинал нас христианский мир вплоть до 11 Ватиканского собора), будет развита Солженицыным позже, в статьях сборника ”Из-под глыб”; позже вернемся к ней и мы. Пока заметим только, что Ройтман ощущает не одну лишь общую, но и личную вину перед русским народом: двенадцатилетним мальчишкой он,*

вместе с двумя другими мальчишками-евреями, травил своего одноклассника, избличая его "в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении" (1У, 592). Очень существенная поправка: приговор выносится изнутри, собственной совестью. Эта поправка связывается с замечательнейшими страницами из 1У части "ГУЛага", посвященными "восхождению души" за решеткой и колючей проволокой, когда начинаешь понимать, что "никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно" ("Архипелаг ГУЛаг", части III–1У, Париж 1974, стр. 600). Эта поправка, если и не примиряет нас с концепцией коллективной ответственности (концепцией, кстати говоря, варварской, враждебной традициям иудеохристианства: (см. Иезекииль, ХУШ), то все же несколько смягчает тягостные реминисценции.

Теперь, следуя хронологии публикаций, надо было бы обратиться к "Августу Четырнадцатого". Но важные для нашей темы главы "Узла Первого" теперь, после выхода в свет "Ленина в Цюрихе", невозможно рассматривать отдельно от этой книги, составленной из фрагментов Первого и двух дальнейших Узлов. Невозможно потому, что мысли, высказанные в "Августе", приобретают глубину и подлинный смысл лишь в связи с тем, что рассказано и показано в "Ленине". А потому сперва рассмотрим "ГУЛаг" и публицистические (или, если угодно, историософские) сочинения, напечатанные Солженицыным после изгнания из СССР.

Все мы помним, какую бурю еврейского негодования вызвал второй том "ГУЛага". Настолько яростную, что иные из нас как бы и позабыли, что означает появление этой великой книги, позабыли обо всем, кроме своей еврейской обиды. Обида же состояла в том, что слишком много еврейских имен и еврейских фотографий привел Солженицын, повествуя об основателях и строителях системы "истребительно-трудовых лагерей". "Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей..." (стр. 74). Семен Фирин (стр. 78), Яков Раппопорт, Матвей Берман, Лазарь Коган (стр. 82), Бродский (стр. 99), не говоря уже о верховном распорядителе Генрихе Ягоде. Но, может быть, не меньше, чем этот жуткий список (и жуткие физионо-

мии на фотографиях), шокировал нас короткий эпизод из главы "Женщина в лагере". Я приведу его, за малыми пропусками, целиком.

"Была у нас в лагерьке на Калужской заставе... гордая девка М., лейтенант-снайпер, как царевна из сказки: губы пунцовые, осанка лебяжья, волосы вороновым крылом. И наметил купить ее старый грязный жирный кладовщик Исаак Бершадер. Он был и вообще отвратителен на взгляд, а ей, при ее упругой красоте, при ее мужественной недавней жизни, особенно. Он был корягой гнилой, она – стройным тополем. Но он обложил ее так тесно, что ей не оставалосьдохнуть... И однажды вечером, когда в лагере погас свет, мне довелось самому увидеть в бледном сумраке от снега и неба, как М. прошла тенью от женского барака и с опущенной головой постучала в каптерку алчного Бершадера" (стр. 226–227).

Солженицын сам ответил на наши (да и не только наши) обиды и упреки в одном из летних интервью 1974 года. Он сказал, что еврейский букет собран не им, а преподнесен теми скудными источниками по истории ГУЛага, какие существуют официально, и что иконография отцов ГУЛага, по преимуществу еврейская, – единственная, какую можно сыскать в советских изданиях 30-х и более поздних годов. Ответ вполне убедительный. Можно не сомневаться, что, будь в руках Солженицына портреты, скажем, Гаранина или Никишова, он бы охотно напечатал и их. Не менее очевидно, что мало какие технические соображения способны заставить Солженицына погрешить против истины. Во всяком случае, сокращать список евреев-палачей или жертвовать собственными свидетельствами, свидетельствами очевидца, из опасения быть заподозренным в антисемитизме, он не стал бы ни под каким видом. Наконец, в утешение поклонникам статистики ("сколько положительных, сколько отрицательных?") можно привести достаточно длинный перечень евреев-жертв, евреев-мучеников, евреев-борцов, фигурирующих в "Архипелаге". Несколько имен только из последнего, третьего тома ("Архипелаг ГУЛаг", части У–У1–УП, Париж, 1976): отчаянный храбрец Володя Гершуни (стр. 45, 76–78), поразительный Арнольд Раппопорт (стр.



120–122), Масамед, отказывающийся от места в конторе, куда его звали "соотечественники" (стр. 119–120; какая, кстати сказать, многозначительная терминология: ты родился и вырос в России, но отечество твоё – не Россия, а только кровные единомышленники; что бы сказал, например, сенатор Джавиц, если бы ему сообщили, что его соотечественник – только Генри Киссинджер, но никак не сенатор Джексон и не президент Форд?)

Но и за всем тем наша еврейская тревога рождена не одною мнительностью. По меньшей мере, дважды Солженицын озадачивает даже самых нечувствительных, самых толстокожих.

Биография Френкеля, разбитая на две половины (стр. 73–77 и 137–140), завершается и подытоживается короткой фразой: "Мне представляется, что он ненавидел эту страну". Ни один из чекистов, гепеушников, энкаведистов и кагебистов, рассеянных по страницам трех томов "Архипелага", такого наблюдения не удостоился. Ни Абакумов, ни Ежов, ни Рюмин, ни Павлов, ни Эйхманс, ни даже Берия или сам Сталин. Только Френкель. Почему? Конечно, фраза звучит поразительно сильно и эффектно после предыдущего абзаца о благополучной старости, проведенной "в почете и в покое", и все же – почему? Художественный эффект – объяснение недостаточное. Во всем сатанинском сонме, распинающем бывшую Российскую империю, самым злым ее ненавистником, самым чужим и враждебным оказывается "Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей". Может быть, потому, что он турок? Но ведь он только родился в Константинополе, а всю жизнь прожил в России, так же, как все его собесы и содьяволы. Да и создатель Органов, первый чекист Феликс Эдмундович Дзержинский был польский шляхтич и родился не в Рязани и не в Вологде. Выходит, потому – что еврей.

Я уже сказал, что сам по себе пример с Исааком Бершадером – непосредственное свидетельство Солженицына – не должен возмущать здравомыслящего читателя. Но детали эпизода, его поэтика не только возмущают, но прямо-таки ошеломляют. На чистую деву, царевну из русской сказки, снабженную всеми атрибутами этого фольклорного персонажа, напа-

дает змей-жидовин, столь же традиционный во всех своих мерзких качествах, только традиция уже не фольклорная, а мифологическая, и мифология эта не русская, а всеевропейская – мифология юдофобства. Припомним эпитеты: "старый, грязный, жирный, коряга гнилая, алчный". Прибавим главный эпитет, вытекающий из ситуации: похотливый, которому в мифологическом сознании соответствует: наделенный сверхъестественной (от нечистого) сексуальной силой. Но ведь это – портрет еврея, идущий от Средних веков, родившийся в эпоху Крестовых походов и "Черной смерти", канонизированный полностью или отдельными своими сторонами Лютером, Вольтером, Гольбахом, Фихте, Фурье, Прудоном, Марксом и легионом иных, столь же или менее именитых антисемитов. Всякий, имеющий хоть какое-то представление об истории европейского антисемитизма, узнает этот портрет, этот стереотип с первого взгляда. Солженицынский Исаак Бершадер без труда находит свое место в веренице чудовищ и уродов с антисемитских плакатов и карикатур, начиная еще с ХУШ века и до предгитлеровской и гитлеровской Германии, арабских государств и Советского Союза, как сегодняшнего, так и времен космополитской травли и "дела врачей" (1949–1953). Старый и гнусный жид, покушающийся на "белую лебедь", – сюжет для пропагандистского плаката, иллюстрирующего Нюрнбергские расовые законы, предупреждающие наивных и невинных ариек против еврейского сластолюбия и коварства. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на простейший источник – подборку карикатур, воспроизводимых при статье Anti-Semitism в "Энциклопедия Юдаика".

(Encyclopedia Judaica, vol. 3, col. 127 134).

Мне возразят: но что делать, если Исаак Бершадер был действительно таков, каким изобразил его Солженицын? – ты же сам утверждаешь, что Солженицын лгать не способен. Верно, но "Архипелаг" назван автором "опытом художественного (выделено мной. – С. М.) исследования". А искусство, искусство означает обобщение. Частный случай кладовщика Бершадера и лейтенанта-снайпера М., и без того уже обобщенный фольклорно-мифологическими аксессуарами, обобщается

вдвойне и втройне силою солженицынского художественного мастерства. И Солженицын слишком умен и проницателен, чтобы этого не понимать.

Из трех статей Солженицына, напечатанных в сборнике "Из-под глыб", для нашей темы важна по преимуществу вторая – "Раскаяние и самоограничение". Хребет ее (как я уже упоминал) – мысль о коллективной вине и коллективной ответственности наций. Мысль эта (как тоже упоминалось) для нас неприемлема. Неприемлемы для нас рассуждения о "тысячелетиями известном", "не спуста взятом" выражении "за грехи отцов", о "мистически спаянной в общности вины нации" (стр. 122–123). Не только потому, что еще Иезекииль отвергает принцип: "Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомины", но и потому, что как раз этот варварский принцип лежит в основе таких капитальных преступлений различных тоталитарных систем, как классовая и расовая борьба, "грехи" социального происхождения, изгнания и насильственные переселения целых народов, газовые камеры для евреев и цыган, репрессии "членов семьи изменника родины" и т.д. и т.п. Все зависит от того, что считать "виною отцов", а тут необозримые возможности для самого чудовищного произвола. Нет, категорически: сын за отца не отвечает. Не отвечает сегодняшний венгр перед сегодняшним русским за то, что в 1918–20 годах "(венгерские) винтовки довольно погрохотали и в подвалах ЧК и на задворках русских деревень" (стр.141), так же, как сегодняшний русский не в ответе перед сегодняшним венгром за подавление венгерской революции 1849 года и убийство Шандора Петефи. Я также не несу вины за преступления Нафталия Френкеля, приемники и выученики которого расстреляли и моего отца, как мой грузинский друг не несет вины за Сталина и Берию, мой армянский друг – за Кобулова и Микояна, а Солженицын и Виктор Некрасов – за Ежова, Рюмина и Абакумова. Но, повторяю, я не спорю с Солженицыным и, если задерживаюсь на общих идеях "Раскаяния и самоограничения", то лишь потому, что именно они во многом, если не в основном, определяют отношение Солженицына к евреям.

*В 5 главке статьи Солженицын впервые излагает свой взгляд на большевистскую (Октябрьскую) революцию. Он решительно опровергает анонимных разоблачителей русского мессианизма, выступивших в 97 номере "Вестника Русского Христианского Студенческого Движения" и утверждавших (не вдруг, не от себя, но по давней традиции, вслед за Бердяевым и Франком, о чем Солженицын, однако, не упоминает), что эта революция была закономерным этапом в развитии "русской идеи". Революционное учение интернационально, оно пришло к нам с Запада, в первые 15 революционных лет пролетарский мессианизм не только не имел русофильского характера, но был откровенно русофобским, напоминает Солженицын (стр. 134). И далее: "Конечно, побеждая на русской почве, как движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия?.. Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами?" (стр. 135). Евреи, обитавшие на территории нынешнего Советского Союза еще в эпоху Киевской Руси, объявлены иностранцами и приравняются к китайцам и венграм!\* Все в одной куче, все иностранцы – и Шафиров, вице-канцлер при Петре Великом, и народник Натансон, и художник Левитан, и первый русский семитолог Хвольсон, переводчик Ветхого Завета на русский язык, и Пастернак, и Мандельштам? Или иные из них – не вполне иностранцы, потому что облиты были крещальной водой? Или только те иностранцы, кто выступал на стороне советской власти? Ответа нет, а потому мы едва ли ошибемся,*

---

\* Армяне, грузины, азербайджанцы почему-то к "иностранцам" не причислены, хотя каждый знает, что кавказские "инородцы" играли в революции едва ли меньшую роль, чем евреи. В "Раковом корпусе" Солженицын прямо снимает с армян всякую ответственность: "После лагерной жизни Олег не мог быть очень привязан к армянам: там, немногочисленные, они ревностно вызволяли друг друга, всегда занимали лучшие места. Но, по справедливости рассуждая, нельзя было за то на них обижаться: не они эти лагеря придумали, не они придумали и эту Сибирь..." (11, 573). А между тем, в Грузии прочно бытует легенда (я слышал ее своими ушами), что Сталин вступил в революцию, чтобы отомстить русским за порабощение и унижение Грузии, – и цели своей достиг вполне.

*если станем толковать это, поистине, удивительное утверждение расширительно: все мы, российские (а позже советские) евреи – для Солженицына чужеземцы, чужаки, все одинаково должны каяться в многообразных провинностях "отцов наших" перед русским народом на всем протяжении его истории, от Владимира Мономаха, при котором состоялся первый на Святой Руси погром (1117 год), до Брежнева. (Кстати: в примерном списке тех, перед кем, в свою очередь, провинился русский народ и кому он обязан взаимным раскаянием, евреи не значатся. Как видно, российский и советский антисемитизм – пример недостаточно убедительный, не самая веская причина для покаяния). Зачем же тогда винить "национал-большевизм", для которого "принадлежность к русским или нерусским определяется исключительно кровью" (стр. 129)?*

*Чтобы закончить с "Раскаянием и самоограничением" отметим еще одну любопытную деталь. "Как наша страна (в предыдущем абзаце – "Россия". – С.М.) пострадала в этом веке, сверх мировых войн уничтожив сама в себе до 70 миллионов человек, – так никто не истреблялся в этом веке" (стр. 128). Входят ли в эту цифру "иностранцы" – латыши, евреи, поляки, а рассуждая последовательно, и народы Кавказа, Средней Азии, Поволжья, да и украинцы с белорусами, которые как-никак, а все же не "Россия"? По всей очевидности – да. Тогда, собственно, русские потери намного, наверное вползину, меньше. Так как же мог Солженицын позабыть про евреев, которых "этот век" истребил больше, чем на треть? Это не забвение, это умышленное умолчание – в лучших советских традициях.*

*Взгляд на большевистскую революцию развивается, детализируется, выстраивается завершенной концепцией в "Ленине в Цюрихе". Чужеродность революции, иноземность ее, импортированность оказываются в числе важнейших характеристик. Ленин не просто враг русского самодержавия, он враждебен и чужд России, он ненавидит ее, ненавидит и презирает русский народ ("...нет на земле народа покорней и бессмысленней русского... Любую пакость, любую мерзость он сглодает..."), клянет судьбу, от которой досталось ему "Родиться в прокля-*

той России”, и в какой-то миг окончательно решает: “Кончится война – уедем в Америку”. Потому что “социализм – безнационален, а Россия – безнадежна” (“Ленин в Цюрихе”, Париж 1975, стр. 85, 87, 91, 95). Да он и вообще-то не русский: “Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки привязала судьба к дрянной российской колымаге!” (стр. 8). Для несведущих добавляем: из трех остальных четвертушек – две калмыцкие, на что есть намек в тексте (стр. 50), и одна еврейская, о чем умолчено, но в Советском Союзе это скандальное открытие, – доктор Бланк, еврейский, хотя и крещеный дедушка Ильича, – известно достаточно широко.

И соратники у этого инородца – в большинстве инородцы же (если не прямые иностранцы): поляки, эстонцы, армяне, но в первую очередь и по преимуществу – евреи. Тут очень помогает “Справка (революционеры и смежные лица): “БА-ГОЦКИЙ... поляк из России”, “КОЛЛОНТАЙ... дочь генерала (украинца) и финской крестьянки”, “МАЛИНОВСКИЙ... поляк родом из-под Плоцка”, “АРМАНД... родилась ...в семье французских артистов”... Еще старательнее раскрываются псевдонимы: СОКОЛЬНИКОВ (Бриллиант), РЯЗАНОВ (Гольденбах), РАДЕК (Зобельзон), МАРТОВ (Цедербаум), КАМЕНЕВ (Розенфельд)... Пусть таковы требования к составленному по правилам науки аннотированному указателю, но “Ленин в Цюрихе” – не научный труд, а свидетелям и жертвам сталинского удара по космополитам эти раскрытия скобок знакомы до жути и тошноты. Как бы кто не подумал, что Зиновьев – и в самом деле Зиновьев, а не безродный Апфельбаум?

И среди мелких бесов горою высится Сатана – Израиль Парвус (Гельфонд), величайший ненавистник России, главный двигатель адского антироссийского заговора, творец “Плана”. “План” же состоит в “уничтожающем разгроме”, “разрыве и расчленении России” силами тройственного союза национализма, социализма и германского правительства, соединенными силами социальной и национальной революций, “разрушительной пропагандой изнутри” и “враждебностью мировой прессы извне” (стр. 113–118). “Ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России!” (стр. 119). А потому “рабочие партии

всего мира должны воевать против русского царизма... ПОБЕДА ГЕРМАНИИ – ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА!” (стр. 113). И “План” претворяется в действие (хотя и не с тем размахом, что был задуман первоначально), и революция в России готовится на германские деньги, а когда революция начинается, германский генеральный штаб, по ходатайству Парвуса, разрешает русским эмигрантам в Швейцарии, возвращающимся на родину, проехать через Германию в “изолированном, экстерриториальном вагоне” (стр. 210).

Ленин – и сам Сатана по всем показателям; “План” Парвуса – это и его план. Но в Ленине – “дикая, нестерпимая узость раскольника” (стр. 120), а Парвус неиссякаемо энергичен, инициативен, не притязая на первенство формальное, он без конца обгоняет и теснит Ленина и без конца будоражит, провоцирует его. Парвус рядом с Лениным – это злой дух Сатаны.

Я не вхожу в оценку концепции Солженицына ни в целом, ни в деталях, не пытаюсь выяснить, насколько правдоподобен его Ленин, насколько отвечает исторической истине его Парвус. Меня интересует лишь одно: еврей Парвус, как художественный образ, выражающий определенную авторскую позицию. И образ этот – чудовищен.

Он громаден, тучен (“слонобегемот” – стр. 106) и невероятно уродлив. Прикосновения его “студенистых рук” (стр. 127) вызывают физическое отвращение. Он “дышал болотным дыханием” (стр. 111), (вариант “еврейского смрада”, пресловутого foetor Judaicus!). Он необыкновенно сластолюбив (стр. 111–112) и еще того более корыстолюбив, неколебимо веруя во всевластье денег. Страсть к “гешефту” (ключевое для этого образа слово!), “порывы торговли” у него – “врожденная потребность”, “почти биологическое действие” (стр. 124). Он абсолютно свободен от каких бы то ни было моральных правил и запретов, он развратник, вор и аферист (стр. 100, 106). Он законченный космополит (“... 25 лет проболтался по Европе Агасфером...”, “... шутил: “Ищу родину там, где можно приобрести ее за небольшие деньги” – стр. 100). Он сверхъестественно, пугающе умен и прозорлив, и весь ум его направ-

лен на разрушение. "...Ни в каком насыщении, ни в каком расслаблении ни на миг не покидал своего поиска, рожденного в дальней юности тут же, на черноморском берегу, по диагонали (т. е. в Одессе. – С. М.)..." (стр. 112). И цель поиска – сокрушение России: "...Обладал Парвус сейсмическим чувством и уже знал, что – поползут пласты! что – попадет старый глупый медведь!" (там же) В годы войны он процветает, наживается безмерно, но "План" все еще не претворился в жизнь, "разрушительная русская революция" (стр. 147) все еще не наступила – и он несчастен. "И казалось бы: вереница успехов на прямом пути этого человека могла бы вполне насытить его. Но нет! – таинственным образом беспокойство так и не выполненной задачи – хотя в ту страну он никогда уже не собирался возвращаться – томило и тянуло его" (стр. 148). Следует еще одна вариация на ту же тему, пожалуй, самая апокалиптическая из всех:

"...Потопить ее флот, отобрать ее вооружения, срыть укрепления, навсегда запретить армию, промышленность военную, а то и, лучше, всякую, ослабить ее отсечением всего, что только можно отсечь, – и оставить ее выкатанной гладкой доской, пусть забудет десять веков своих мерзостей и начинает свою историю снова.

Парвус никогда не забывал зла" (стр. 149).

Что означает эта "клаузула", выделенная в особый абзац? Не в ней ли разгадка солженицынского Парвуса? Оказывается, он – не просто дух злобы, разрушитель по самой природе своей (что уложилось бы в универсальную схему социализма, предлагаемую И. Шафаревичем в сборнике "Из-под глыб": статья "Социализм", стр. 29–72); он – злопамятный мститель. Какого именно зла не забывал Парвус царской России, Солженицын не говорит, но первый (хронологически) революционный тезис, который, согласно "Ленину в Цюрихе", выдвинул Парвус, таков: "...Еще в Одессе при Александре III сформулировал задачу, что освобождение евреев в России возможно только свержением царской власти..." (стр. 101). Логично и вполне вероятно: высокий процент участия евреев и других "инородцев" в русских революциях, конечно же, связан с националь-



ным угнетением и унижением. Однако Парвус не только вступает в революционную социал-демократию оскорбленным евреем; жаждущим мести евреем он остается навсегда внутри сугубо интернационалистской, по принципам своим, идеологии и организации, и в этом качестве оборачивается шаблонным вариантом старинного и хорошо известного в истории Европы мифа о еврее-мстителе. Этот миф лежит в основе гонений еще XIУ века, как после "Черной смерти", так и до нее. Схема примитивна, но пропагандистски безотказна: мы гнали и преследовали их отцов (начиная с первых Крестовых походов), теперь они мстят всеми средствами и способами, например – отравляют колодцы. Или: мы убивали их – теперь надо истребить или изгнать их детей, иначе они вырастут и постараются отомстить (см. I.L. Poliakov, Histoire de l'antisemitisme, T.I, Paris 1955, 122, 126, 140). Отсюда же идут мифы о непримиримой ненависти евреев к христианам, впитываемой с молоком матери, о врачах-убийцах (дошедший, как нам, к сожалению, известно, в неприкосновенности до нашего времени), о всемирном еврейском заговоре, наконец ("Протоколы Сионских мудрецов" и, в новейшем исполнении, сговор мирового сионизма с американским империализмом. Все эти мифы – различные стадии и стороны долгого процесса "сатанизации" еврея) см. "Entretiens sur l'homme et le diable", sous la dir. de Max Milner, Paris-la Haye 1965, p. 189 suiv.) Другие его стороны – инквизиция, погромы, Освенцим...

Вот в какую традицию вписывается солженицынский Парвус, и в целом, и всеми своими деталями, чертами. Во многом они совпадают с чертами Исаака Бершадера, о типичности, "мифологемности" которых я уже говорил. Возьмем еще две – почти наугад.

"Никогда не имела Германия такого советчика по России, по всем слабостям ее" (стр. 117). Еврей-предатель, охотно служащий врагам страны, которая его приютила, известен и до ХУI века, но в ХУI веке это обвинение выдвинул Лютер – со всеми присущими ему страстью, блеском и раскаленным добела фанатизмом) см. R. Lewin, Luthers Stellung zu den Juden,

Berlin 1911, s. 74–75). Пройдя через многие уста и многие книги (сошлюсь, опять-таки лишь для примера, на Жозефа де Местра: Oeuvres complètes, Lyon 1884, t. III, p. 336), оно добрело и до нашего недоброго века: вспомним массовые выселения евреев из прифронтовой полосы русскими властями в первую мировую войну. Или полный, принципиальный аморализм еврея (своего рода "все дозволено!"): в новое время о нем особенно подробно писали Гольбах и Фурье (см. L. P. Poliakov, op. cit., т. III, 170, 380–382). А каким громадным авторитетом пользовался Фурье у русской интеллигенции в середине прошлого века известно каждому, кому знакомы хотя бы имена Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского.

С евреем в революции получается примерно то же, что с евреем в системе ГУЛага: все виноваты, а он – больше всех. Про одного лишь Нафталию Френкеля сказано, что "он ненавидел эту страну", и ни один социал-демократ не сравнится в ненависти к России с Парвусом, даже сам Ленин. Может быть, потому, что Ленин хоть на четвертушку крови – а все-таки свой, русский; Парвус же – чужой на все четыре четверти?

Теперь, уяснив себе до некоторой степени солженицынский взгляд, легче понять и оценить главы 61–62 "Узла Первого", где "еврейский вопрос" задан не только с полной отчетливостью, но и со всей солженицынской конкретностью и целеустремленностью. Цель же Солженицына – благо России, его забота – судьба русского народа. Он националист, отвергающий не только начисто осрамившийся "пролетарский интернационализм", но интернационализм вообще, под каким бы то ни было набором лозунгов. И, следовательно, единственно важный для него аспект – это роль еврея в российской жизни, в созидании России или ее разрушении. К исполнителям второй из этих двух ролей, уже известным нам по "Архипелагу" и "Ленину в Цюрихе", в "Августе Четырнадцатого" присоединяется молодое поколение разрушителей. Их ненависть к царской России так же непримирима, как у Парвуса, и так же точно источником имеет ущемленное национальное чувство (стр. 538). Правда, "маломыслящая молодежь" (как называет их

*про себя один из персонажей романа) неспособна, в отличие от Парвуса, сама составить "План", но за вождями пойдет слепо, потому что ослеплена фанатизмом совершенно. Если эти молодые разрушители чем и любопытны, так, прежде всего, тем, что принадлежат к другому крылу социализма: они не эсдеки, как все герои "Ленина в Цюрихе", а эсеры. И это важно: различье в оттенках социализма никак не сказывается на духе отрицания и страсти к разрушению.*

*Молодым, "детям" противостоит "отец" – инженер Илья Исакович Архангородский. Его принцип – любить и строить, "уметь видеть в России не только "Союз русского народа", а "Союз русских инженеров" (стр. 538). Его кредо: "Страна, где ты живешь, попала в беду. Так что правильно: пропадай, черт с тобой? Или: я тоже хочу тебе помочь, я – твой? Живя в этой стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет? Если нет – можно ее разваливать, можно из нее уехать, не имеет разницы... Но если да – надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать..." (стр. 537). Замечательно ясное и убедительное кредо, вполне приложимое и к нашей сегодняшней ситуации: твоя страна – оставайся, нет – беги. Беда только в том, что все оно – утопия, прекраснодушная наивность, все то же зажмуриванье в специфически еврейском варианте. Сказать "моя" – куда как просто, но услышать в ответ "да, твоя" оказалось невозможным. Никому и ни от кого. Ни созидателям, ни разрушителям. Ни от монархистов, ни от либералов; ни от большевиков, ни от эмигрантов. И в будущем взаимности не предвидится. Все равно ведь мы – чужие, чужой крови, и чужую эту кровь нам помянет противник из любого лагеря. Вот и Никита Струве, ответственный редактор "Вестника Русского Христианского Движения", сразу углядел в Парвусе его слабую точку: "...в Ленинских главах вина переносится на внешних врагов России, на всякого рода интернационалистов (выделено мною. – С. М.) типа Парвуса, не связанных с Россией ни кровью (выделено мною. – С. М.), ни культурой..." (ВРХД № 116, стр. 188–189). И о том же самом толковали в космополитскую кампанию*

защитники советской власти, непоколебимые сталинисты, и о том же – Никита Хрущев, требуя расстреливать "львовскую жидовню" за экономическую контрреволюцию, и о том же – сегодняшние националисты всех оттенков и размеров, от пигмея Алексея Маркова до исполина Александра Солженицына.

Я не защищаю ни Парвуса – Гельфонда, ни Зиновьева – Апфельбаума; я совершенно согласен с Солженицыным, что они бандиты самого последнего разбора, враги России, человечества, самой жизни. Но я решительно не согласен с тем, что это как-то связано с их еврейским происхождением; более того – они вообще не евреи, не имеют с евреями ничего общего. Есть старая легенда, будто однажды в Лондоне Нахум Соколов предложил Троцкому возглавить сионистское движение, на что Троцкий отвечал: "Ваши масштабы для меня слишком ничтожны. Вы мыслите категориями одного крохотного народа, я же – мировыми, всемирными". Корить Троцкого его еврейством – так же нелепо, как гордиться принадлежностью этого несостоявшегося Сталина к еврейскому народу, и не более лепо, чем вспоминать о еврейском происхождении Пастернака. Однако корят, гордятся, вспоминают. Все о том же, о том же, о том же. Стало быть, иначе невозможно. Вот почему, в первую очередь, я и пишу эту статью.

Сионизм – национальное и националистическое движение, он этого не стыдится и не скрывает. Мы не только понимаем националистические заботы Солженицына, не только с благодарностью принимаем его похвалы Израилю (в том же интервью, о котором упоминалось выше) и сионистскому движению в СССР в 20-е года ("Архипелаг ГУЛаг", части У–У1–УП, стр. 362), сознавая, что подлинный националист и не может относиться к нам иначе,\* мы вполне разделяем его взгляд, что ни к чему было евреям с таким самозабвением бросаться в русскую революцию. На этой точке сионисты стояли еще 70 лет

---

\*За исключением тех случаев, разумеется, когда наши интересы сталкиваются с его интересами: см. довольно неприятный по тону эпизод в "Бодался теленок с дубом". Париж, 1975, стр. 404 (евреи с просьбой, как всегда, "о своем" у академика Сахарова).

*назад, предсказывая, что русская революция наших проблем не решит, призывая заниматься своим национальным делом, – и оказались правы не на 100, а на 200%. Но распростившись с Советским Союзом не так давно, уже зрелыми, а то и пожилыми, не можем мы переменить душу, бежавши за море; мы остаемся советскими евреями, горести и тревоги советского еврейства остаются и нашими тревогами и горестями. И тревожат нас не только те, кто хочет уехать, но и те, кто хочет остаться. Последних же пока большинство, и мотивы у них разные – от инертности и прямой корысти (все те же "горшки с мясом", что в пору Исхода из Египта) до соображений самых высоких.*

*Я уверен, что спасать насильно, "благодетельствовать" вопреки воле "благодетельствуемых" – преступление, мало чем отличающееся от тоталитарной, террористической тирании, палкою ГУЛага загоняющей миллионы в рай "нашего светлого будущего". Никакие идеи тут не оправдание; никакой обман тут недопустим. Я знал в Москве литератора, который, когда началась эмиграция, сказал: "Если станут гнать силой, я покончу с собой. Это моя страна и моя культура, и если они меня отвергают, значит, больше жить незачем". Надо ли его отговаривать, переубеждать, толковать о национальном сознании и человеческом достоинстве? Едва ли. Пусть процветает или погибает – как заблагорассудится хозяевам. Но фанатиков не так много. Главная масса остающихся, и остающихся не из шкурных мотивов, не готова и не желает взойти на костер из-за безответной любви к России. Главная масса надеется. Либо на полную ассимиляцию, бесследное растворение. Либо – и эти сегодня в явном меньшинстве – на возможность национально-религиозного возрождения и существования в чужом окружении.*

*Вполне очевидно, что ни те, ни другие надежды не смогут осуществиться иначе, как с переменами внутри Советского Союза. При нынешних хозяевах и им подобных ситуациях будет складываться только по формуле "бьют и плакать не дают". Либерализация, демократизация, гуманизация режима в духе Сахарова или Роя Медведева, вероятно, принесла бы*

кое-какие плоды и евреям. Но шансы "демократов" на успех ничтожны. А самое главное, мы уже знаем, к чему привело "раскрепощение евреев" социализмом, казавшееся неоспоримой истиной в первой половине 20-х годов (а многим и позже, чуть не до самой войны). Нет никаких гарантий, что демократизация, если бы она каким-то чудом и начала совершаться, не обошлась бы с нами невольнее так же, как диктатура пролетариата.

Другой вариант перемен – националистический – более реалистичен. Ему намного больше сочувствует и угнетенное население, и даже угнетающий новый класс. В худшем случае, он явится на свет в форме русского гитлеризма, в лучшем – как воплощение солженицынских замыслов и идеалов. О худшем случае говорить ни к чему – и так все ясно; лучший даст евреям право беспрепятственной эмиграции и свободу религиозной жизни. Но – не более. Стать русским, раствориться без остатка будет не более возможно, чем при нынешних хозяевах, а скорее – менее.

Однако назвать Солженицына антисемитом я бы все же не решился.

Один из московских писателей, человек и талантливый, и, безусловно, честный, и, кстати говоря, достаточно далекий от национализма, сказал мне с заметным раздражением: "Что вы, евреи, все жалуетесь: притесняют, мол, вас, оскорбляют, на работу хорошую не берут, в ВУЗы не принимают. Все верно! Но неужто вам за всем тем хуже, чем русскому крестьянину? Не посмеешь ты этого утверждать! А ведь вас, по крайней мере, раз в десять меньше, чем русских крестьян!"

Солженицын мог бы подписаться под этими словами обеими руками. Да вот и совсем недавно, 9 марта 1976 года, выступая по французскому телевидению, он отвечал на вопрос о советском еврействе и сказал примерно следующее: Советская власть душит все народы страны, в том числе и евреев, невозможно ни понять, ни оправдать эмиграционные ограничения, препятствия в развитии национальной культуры, но нельзя забывать ни на миг, что главной жертвой национальной политики советских правителей является русский народ, – так было и

в начале революции, когда малые народы пользовались преимуществами по сравнению с коренным, так оно остается и по сей день. "За чужой щекой зуб не болит", – мог бы возразить Солженицын своей любимой поговоркой на наши жалобы. Мы не вправе просто вернуть ему тот же укор: автор "Архипелага" написал о страданиях всех народов советской империи. Но и у него собственный зуб ноет не в пример больнее чужого, и наша еврейская судьба занимает его не в пример меньше, чем горе и унижение русского народа. А, пожалуй, что и вовсе не занимает. Но, сами националисты, мы не вправе требовать национального альтруизма от других.

Не вправе мы, на мой взгляд, корить его и за концепцию революции, сделанной руками "инородцев", – прежде всего, потому, что, как уже сказано, сионисты всегда были против вмешательства евреев в русские дела. Концепция эта, может быть, и вполне ложна, но опровергать ее предоставим социалистам или бердяевцам. Есть в ней, однако, пункт, которого мы не можем миновать без самых решительных возражений: это сатанинский, средневековый образ еврея-разрушителя. Образ этот прочитывается, как антисемитский, и врагами нашими, и друзьями, и нами самими.

И все-таки я не считаю Солженицына антисемитом. Антисемитизм – это ненависть или, по крайней мере, активная враждебность, ищущая выхода в конкретных действиях. Солженицын не раскрывает нам объятий, не объясняется в любви; мы для него чужие, более чужие, чем поляки (это понятно: "спор славян между собой"), чем эстонцы даже. Тут уж ничего не напишешь: насильно мил не будешь, а назойливо домогаться любви (явление в диаспоре нередкое) – срам. Но Солженицын не только не желает нам зла, он положительно желает нам добра – в нашем собственном доме, в собственных делах, на своей земле. Для евреев, национально определившихся, этого вполне довольно; для ассимиляторов это – предупреждение, над которым они обязаны задуматься, чтобы еще раз не промахнуться, не попасть снова впросак.

Но если Солженицын не антисемит, откуда взялись Парвус и Исаак Бершадер? Что же, вспомним знаменитую статью Влади-

мира Жаботинского "Русская ласка" (1909 год) – о ксенофобии русской литературы. Очень неприятно, очень горько и обидно, а все же нам помнить необходимо. "По надобности оправдать ассимиляцию, – пишет Жаботинский, – мы безмерно прославляли национальную индифферентность, национальное благодушие великоросов, а прославляя, проглядели один факт. Этот факт – русская литература, та самая, что со времен еще Радищева славилась свободой и милостью к падшим призывала, та самая, что так сильно проникнута идеями подвига и служения; та самая, которая устами своих лучших ни одного доброго слова не сказала о племенах, угнетенных под русской державой, и руками своих первых палец о палец не ударила в их защиту; та самая, которая зато руками своих лучших и устами своих первых щедро обделила ударами и обидами все народы от Амура до Днепра, и нас больше и горше всех" (Вл. Жаботинский, "Фельетоны", С.-Петербург 1913, стр. 93). Он говорит о гоголевских торжествах (столетие со дня рождения), которые, наверняка, проходили и в еврейских училищах: "...Девяти десятым из устроителей и участников не придет в голову задуматься, какова с нравственной точки зрения ценность этого обряда целования ладони, которой отпечаток горит на еврейской щеке... какой посев компромисса, бесхарактерности, самоунижения забрасывается в сознание отрочества этим хоровым поклоном в ноги единственному из первоклассных художников, воспевшему, в полном смысле этого слова... еврейский погром" (стр. 94). Он вспоминает "разных великанов русского художества" – Пушкина, Некрасова, Тургенева, Достоевского ("...если правда, что битый рад, когда бьют и соседа, то мы можем утешиться, припоминая польские типы Достоевского..." – стр. 96), Чехова (с его "Тинной")... И "ничего настоящего, ничего такого, что, если не по силе, то хоть по настроению, по проникновению в еврейскую душу могло бы стать рядом с "Натаном Мудрым" или с Шейлоком... Да и зачем такие высокие образцы: рядом у поляков есть Элиза Ожешко, есть знаменитый Янкель из "Пана Тадеуша", написанный Мицкевичем в то же самое время, когда Пушкин малевал своего жида Соломона из "Скупого рыцаря" ..." (стр. 98).



*”Надо помнить, – продолжает он, – что философию народа, его настоящую, коренную философию выражают не философы и публицисты, а художники, и в данном вопросе характер этой философии для всякого, кто не слеп и не глух, ясен без малейшей двусмысленности. Может быть, мало на свете народов, в душе которых таятся такие глубокие зародыши национальной исключительности. Мы проглядели, что родоначальная страница русской классической драмы ”Горе от ума” насквозь пропитана обостренным националистическим чувством, до краев полна протестом во имя национальной самобытности, выходящими против французско-нижегородской ассимиляции, проповедью ”премудрого незнания иноземцев”. Мы проглядели, что Пушкин в разгаре таланта написал потрясающее по энергии и силе стихотворение ”Клеветникам России”, где трепещет подлинный нерв того настроения, которое в Англии теперь называют джингоизмом. Мы проглядели, что в пресловутом и нас захватившем культе ”святой и чистой” русской интеллигенции, которая-де лучше всех заграничных и супротив которой немцы и французы просто мещане, – что во всем этом славословии о себе самих, решительно вздорном и курьезном, гулко звучала нота национального самообожания. И когда началось освободительное движение и со всех трибун понеслась декламация о том, что ”мы” обгоним Европу, что Франция реакционна, Америка буржуазна, Англия аристократична, а вот именно ”мы”, во всеоружии нашей неграмотности, призваны утереть им нос и показать настоящее политическое зодчество, – наша близорукость и тут оплошала, мы и тут не поняли, что перед нами взрыв непомерно вздутого национального самолюбия...” (стр. 99–100).*

*При всей полемической заостренности характеристика эта верна.*

*Солженицын – великий русский человек, наверное, самый великий русский своего поколения, наследник всех главных черт русского национального характера, всех богатств и всех прорех русской литературы, этот характер отразившей. В том числе – и ее ксенофобии. Вот откуда и Парвус, и ”белая лебедь”, жертва еврейской похоти. Я не оправдываю юдофо-*

бии, запрограммированной в дьявольском "слонобегемоте", но я утверждаю, что запрограммирована она не злой волею Солженицына, а чем-то гораздо более общим и глубоким, чем личные симпатии и антипатии.

Вслед за Жаботинским я повторяю: "Ошибается тот, кто "во всем этом увидит ненависть к русской литературе" (стр. 98). Мы, советские евреи, преклоняемся и перед Гоголем, и перед Достоевским, и перед Пушкиным, преклоняемся перед русской литературой, которая нас вырастила, преклоняемся несмотря на ее явное к нам нерасположение. Так постылый пасынок способен отдавать должное красоте и величю злой мачехи. Но, если в наплыве любви и преклонения, он вдруг забывает, что это не мать, а всего лишь мачеха, если кидается ей на шею, не замечая, что она отталкивает его, гнушаясь его неуместными нежностями, он превращается в посмешище, теряет право на уважение. Мы преклоняемся перед Солженицыным – Гомером кошмарного Архипелага, где лежат и наши кости, где просияли и наши мученики и исповедники; одиноким Гераклом, бьющимся против многоликого тоталитаризма; одиноким пророком высшей нравственности и высшей ответственности, голос которого, как и положено пророческому голосу, слишком часто теряется в пустыне непонимания и прямой враждебности. Но – издали, соблюдая пафос дистанции, не набиваясь в закадычные друзья и наперсники, не захлебываясь слюной в пароксизмах умиления, но, напротив, точно зная высоту стены и глубину рва, которые нас разделяют.

В середине 50-х годов Борис Слуцкий написал стихотворение "Хозяин".

*А мой хозяин не любил меня,  
Не знал меня, не слышал и не видел,  
Но все-таки боялся, как огня,  
И сумрачно, угрюмо ненавидел.*

*Когда пред ним я голову склонял,  
Ему казалось: я усмешку прячу.  
Когда меня он плакать заставлял,  
Ему казалось: я притворно плачу.*

*А я везде носил его портрет,  
В землянке вешал и в палатке вешал,  
Смотрел, смотрел, не уставал смотреть...  
И с каждым годом мне все реже, реже  
Обидною казалась нелюбовь.*

.....  
*Таких, как я, хозяева не любят.*

*Это — о Сталине. Но это — и о хозяевах вообще, о наших гостеприимцах и благодетелях, о "коренной культуре", "коренной интеллигенции", "коренном населении". Не любит нас хозяин — и баста, и ничем ему не угодишь. А если и исхитришься угодить, так, наверняка, не угодишь его сыну и наследнику. Или же твой сын и наследник разгневает хозяина, а в ответе будет вся семья, не исключая и столетнего прадеда.*

*И все тот же, вечный вопрос: домогаться ли терпеливо любви, безнадежно и безуспешно доказывая свою верность ("я — твой!"), или расстаться с хозяином, употребить все силы ума и тела на постройку собственного дома, а не на украшение чужого, который никогда не станет твоим, никогда тебя не усыновит?*

*В этом вопросе — суть нашего, еврейского прочтения Солженицына.*

*Отвечать же — каждому в одиночку, в меру своего разумения, своих чувств и воли.*



ИОСЕФ ДАН

проф. истории Иерусалимского университета

## БУДЕТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД В ХХ1 ВЕКЕ

*Существование еврейской нации в ХХ1 веке зависит от решений и действий, которые предпримут Израиль и диаспора в ближайшие два года.*

*Такая, похожая на пророчество, декларация вряд ли может быть принята благосклонно. Но я намерен доказать обоснованность этого утверждения, решительно отмежевываясь от эмоциональных оценок и идеологических тенденций. Я буду исходить только из анализа исторических процессов, настолько объективного, насколько вообще может быть объективным человек, когда анализирует процессы, происходящие при его жизни.*

*Я лично не могу представить себе какую бы то ни было еврейскую жизнь без государства Израиль. Но, помня опыт 3500 лет еврейской истории, я не могу навязать свое личное мнение другим. Ведь в течение большинства из этих 35 веков еврейский народ существовал без своего самостоятельного государства. С теоретической точки зрения нет никаких причин, чтобы положение, существовавшее в прошлом, не могло продолжать существовать и в будущем. Но действительно ли это так? Перед нами стоит вопрос: превратили ли процессы, произошедшие в течение трех последних поколений, существование еврейского народа без государства в невозможность, или нет?*

*Может быть, мой подход к вопросу и мой исходный пункт покажутся слишком драматизированными. Следует, однако, помнить, что ни одна из вероятностей — пусть даже наихудшая — не так драматична, как испытания, выпавшие на долю еврейского народа за последние 40 лет. Нет оснований ожидать, что двадцатое столетие проявит по отношению к нам большую щедрость в своей последней четверти, чем проявило во второй и в третьей. Мы должны готовиться к событиям, по меньшей мере не менее решающим, чем те, что имели место в последние 40 лет. Было бы опасно ожидать спокойного и обычного развития событий, происходящего по известному шаблону.*

*Ни одно поколение в этом столетии не было похоже на предыдущее. Почти каждый год приносил с собой новые элементы, новые факторы в еврейской жизни, и то же самое будет, надо полагать, продолжаться и в последующие годы. Мы должны приспособить себя к быстро меняющимся обстоятельствам. Еврейский народ — древний народ, и потому существует серьезная опасность, что наш почтенный возраст усыпит нас, внушит нам ложную самоуверенность. Легче всего сказать: "Мы просу-*

*ществовали тем или иным способом 35 веков, несмотря на рабство египетское и в нацистских лагерях смерти; сумеем как-нибудь выстоять и в будущем. Давайте-ка придирчиво проверим себя и спросим: "Действительно ли мы древний народ?"*

*Я думаю, что, даже не обращаясь к статистике, все признают правдивость следующих фактов:*

*1. Ни один из взятых наугад тысячи молодых евреев не сможет заявить, что его дед родился в той же общине, в которой он проживает сегодня.*

*2. Ни один из взятых наугад тысячи евреев не говорит сегодня на том языке, на котором говорил его дед.*

*Нет ни одного народа в мире, который претерпел бы такие изменения. Сегодняшние еврейские общины – это новые общины, в которых тут и там рассеяны горсточки жителей ветеранов. Главные общины США, Южной Америки, Канады, Великобритании и Израиля с трудом насчитывают три поколения. То же можно сказать и о главных общинах СССР – Москвы, Ленинграда, Киева и т.д. – в начале века там почти не было евреев. А старейшие, наиболее укоренившиеся общины, что еще существовали 40 лет назад, сегодня больше не существуют. Никто не мог предвидеть полвека назад, что прекратится еврейская жизнь в Германии, Польше или Йемене; евреи жили и процветали там, по меньшей мере, в течение 500 лет, а в Ираке 2500.*

*Какая есть у нас гарантия, что следующее поколение не будет свидетелем перемен не менее резких и драматических? В 1930 году в мире было больше 10 000 000 евреев, говорящих на идиш. Сегодня их насчитывается всего лишь несколько сот тысяч человек, в большинстве своем преклонного возраста. Разве можно найти еще один народ, массы которого переменяли бы свой язык таким драматическим образом и в такой короткий период?*

*Два этих элементарных факта, что евреи живут сегодня в молодых общинах и говорят на недавно усвоенных языках, должны освободить нас от того иллюзорного ощущения безопасности, которое дарует нам мысль о древности нашего народа. Национальные масштабы территории и языка совершенно изменились в последние поколения, и поэтому всякая вера в неизменность ныне существующих условий обманлива и неоправдана.*

*Мы находимся во власти драматических перемен, и будущее не дает никаких гарантий, что эти исторические процессы не будут продолжаться. Мы должны повлиять на эти процессы таким образом, чтобы обеспечить и упрочить перспективы существования еврейского народа и предотвратить возможность повторения катастрофы.*

*Что такое "исторические процессы"? Когда я употребляю здесь термин "процесс", то имею в виду не одноразовые события и даже не цепь событий, как, например, подъем и упадок антисемитских настрое-*

*ний, эволюцию сионистского движения или развитие государства Израиль. Мне кажется, что все эти частные явления неразрывно связаны с одним общим, фундаментальным процессом, который существенно отличается от любого события или серии событий. Отличие это сходно с различием между явлениями, которые можно изменить и на которые можно повлиять, с одной стороны, и непредотвратимыми процессами, с другой. Можно (иногда с успехом) бороться с ростом антисемитизма, можно повлиять на мощь государства Израиль или еврейской общины в США (посредством еврейской деятельности или еврейской бездеятельности). Роль сионистского движения в еврейских делах определяется решениями самих евреев. Можно значительно повлиять на судьбу советских евреев и других общин. Но в основе всех этих явлений лежит один необратимый процесс, который в поразительно короткое время достиг своего апогея, а именно – процесс вовлеченности евреев в мировую историю.*

*В этой вовлеченности за последние 40 лет можно указать две противоположные друг другу высшие точки. Мне кажется, что такими ключевыми датами являются 1943–1944 и 1973–1974 годы.*

*В 1943–1944 году достигла своей вершины еврейская пассивность по отношению к своей исторической судьбе – пассивность, которая была столь характерна для евреев в течение, по меньшей мере, последних 15 веков. В этом году было уничтожено больше евреев, чем когда бы то ни было за всю нашу долгую историю. И, несмотря на это, ни те, кому угрожала прямая опасность, ни те, семь миллионов евреев, что жили в относительной безопасности вне границ Европы, почти ничего не сделали, как нация, для предотвращения этой бойни. Утверждая это, я не намереваюсь кого бы то ни было обвинять. Я не знаю, что нужно было сделать и что можно было сделать, но то, что евреи, как нация, реагировали с абсолютной пассивностью в самый страшный год катастрофы – это факт, все детали которого сейчас хорошо известны. В ту эпоху евреи, как народ, не были интегральной частью мировой истории и не были способны влиять на мировые процессы (исключение составляли нацисты, которые верили, что, уничтожая евреев, они воюют против мирового зла).*

*В 1973–1974 году положение было совершенно другим. В этот год евреи вели самую большую в истории человечества (со времен Второй мировой войны) войну. Весь мир изменился вследствие действий евреев. Приближающаяся победа Израиля породила угрозу ядерной войны между сверхдержавами, и их войска были приведены в боевую готовность. В этот год евреи диаспоры опять объединились вокруг Израиля, на этот раз не из-за наивной тревоги и энтузиазма 1967 года, а по-деловому, умудренные опытом. Настроения в Израиле и в диаспоре колебались в соответствии с изменениями ситуации на поле боя и на политической арене.*

*Этот год, который продемонстрировал всему миру израильскую военную мощь, одновременно показал евреям диаспоры размеры их политической мощи: попытка СССР навязать выкуп евреям, получившим разрешение на выезд, потерпела неудачу, поправка Джексона сотрясла и продолжает сотрясать взаимоотношения между державами, которые не могут выкристаллизовать связи между собой, не принимая во внимание судьбы советских евреев.*

*Одновременно еврейская помощь Израилю достигла не только количественной, но и качественной вершины. Всякий жертвователю в диаспоре знает ныне, что интересы Израиля должны стоять на первом месте. Я не намерен хвалить или критиковать. Я хочу лишь отметить, что каждый еврей диаспоры, жертвующий в пользу Израиля хотя бы один цент, заявляет этим (сознательно или нет), что еврей, как народ, важнее для него, чем еврей, как частное лицо.*

*Внушительные финансовые обороты объединенного еврейского Магбита, организации Бондс и других звеньев, связывающих Израиль с зарубежным еврейством, уже давно выходят за рамки обычной филантропии или пожертвований. Они представляют теперь усилия организованного народа, влияющего на ход мировой истории.*

*Еврейские и нееврейские мыслители веками ломали голову над вопросом, является ли еврейство религией или нацией. Теперь можно сказать с полной уверенностью: еврейство, чем бы оно ни было прежде, в 1973—1974 году было нацией. Этот факт был установлен не конгрессом или конференцией, не кнессетом или сионистской организацией — это было продемонстрировано поведением каждого еврея в Израиле и в диаспоре. Они вели себя не как жертвователи-единоверцы, а как воюющая нация в борьбе за свое существование.*

*В 1973—1974 году еврей диаспоры вели себя, как часть народа, поставленного судьбой в решающем пункте мировой истории. Если мы сравним этот период с 1943—1944 годом, то увидим огромную разницу и ошеломляющие перспективы.*

*Начиная с 1945 года, еврейский народ все больше и больше вовлекался в поток мировой истории, оставляя в прошлом прежнюю пассивность. В течение всей жизни предыдущего поколения (и даже после того) сионистское движение пропагандировало подобную позицию, но прежде лишь малая часть народа внимала этим призывам. С 1945 года национальная борьба за национальное существование, как общенациональная задача, начала занимать все более важное место в еврейской жизни.*

*В Израиле и в диаспоре произошла подлинная еврейская национальная революция. Я, как историк, выдвигаю тезис, что эта революция является переворотом. Мы не можем пока осмыслить все последствия своего прыжка в опасные и глубокие потоки мировой истории. Происходят перемены. Завтра мир будет иным. Но еврейский народ избрал*

## БУДЕТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД В XXI ВЕКЕ

*путь истории, национальный путь, и этот процесс, подобно всякому процессу национальной революции в истории, не подлежит отмене.*

*И если действительно так обстоят дела, то у нас есть две и только две альтернативы: жить, как нация, или умереть, как нация. Чтобы понять, что это означает, следует указать на единственную в своем роде характерную черту этой революции. Это, очевидно, единственная в мире национальная революция, которая была понята ее врагами лучше, чем ее сторонниками. Русские, признающиеся в неудаче ассимиляции евреев в СССР, арабы, видящие в мировом еврействе своего врага, понимают ее лучше нас.*

*Пришло время, чтоб и мы сами поняли, кто мы такие, что с нами случилось и кого мы из себя сделали. Потому что такое понимание — это единственное надежное руководство для выработки нашего национального будущего.*

*Пользование любым другим понятием, кроме понятия “национальное”, для определения еврейской судьбы в будущем может привести к чреватым катастрофой последствиям.*

*В нашем понимании характера связей между евреями Израиля и евреями диаспоры, на мой взгляд, мы должны исходить из предположения, что еврейство сейчас находится в высшей точке национальной революции и именно сейчас следует принять решения, которые повлияют на судьбу нации в будущем.*

*Основная сила нации — в ее демографическом могуществе и в количестве ее людей. В этом отношении положение наше почти катастрофично. Несколько историков утверждают, что в 1 веке н.э. евреи составляли 10% всего населения римской империи. Сейчас евреи составляют 0,3% от населения мира, и количественное соотношение продолжит изменяться нам во вред.*

*В мире, который ожидает в ближайшем будущем удвоение населения, число евреев почти постоянно: в нескольких, особенно процветающих, общинах демографический баланс даже отрицателен. В конце этого столетия евреи составят самое большее 0,2% от населения. Этот простой факт означает, что наши ресурсы постепенно иссякают. Есть старый анекдот, приписываемый Мао Цзе-Дуну: когда он услышал, каково население Израиля, то спросил: “В какой гостинице вы проживаете?” Сегодня эта шутка больше не смешна. Есть много городов, чье население больше, чем население государства Израиль.*

*Если у нас нет количества, значит, должно быть качество. Но свойство качества в том, что оно проявляется в концентрации. Оно теряет всякое значение, когда разбросано по территории всего мира. Может ли список евреев — лауреатов Нобелевской премии — изменить последствия хотя бы одного голосования в ООН? Будет ли такой список иметь значение, когда будет обсуждаться судьба евреев в СССР?*



*Еврейская гениальность приобретает вес только тогда, когда она укрепляет весь народ, а этого можно достигнуть только в Израиле.*

*Какими еще источниками силы мы располагаем, кроме еврейской гениальности? Сегодня существует молчаливое согласие между Израилем и Диаспорой, по которому последняя должна поддерживать существование Израиля финансово и политически. Несомненно, что эта финансовая и политическая поддержка уже достигла своей вершины и помогает Израилю в такой степени, о которой несколько лет назад нельзя было даже подумать. Не являются ли эти отношения самыми оптимальными? В настоящем кризисе мы не можем позволить себе решение второго сорта. Само собой разумеется, что деятельность еврея из среднего класса, жертвующего каждый год скромную сумму в пользу Магбита, была бы более эффективной для еврейской нации, если бы он жил в Израиле. Тут бы он ежедневно содействовал увеличению национального продукта Израиля и уменьшению потребности в поддержке из-за рубежа.*

*Что же касается политической силы, то Израиль будущего с удвоенным или утроенным населением и процветающей экономикой будет гораздо сильнее нынешнего Израиля, даже поддерживаемого еврейством диаспоры. Разве вспыхнула бы война Судного дня, если бы в Израиле жили 8 миллионов евреев вместо 2,8 миллиона? Какую бы окраску приняла палестинская проблема, если количественное соотношение было бы равно 4 евреям на одного палестинского араба? И опять же Израиль — это центр еврейской национальной мощи, и эта мощь определяется интеллектуальными, экономическими, финансовыми, демографическими, военными силами, сосредоточенными в Израиле.*

*Поддержка из-за рубежа важна, как второстепенная возможность. У еврея за границей есть только малая часть политической силы израильского еврея. Ясно, что существующая система отношений между Израилем и диаспорой не самая лучшая. В будущем поддержки извне будет недостаточно, если мы действительно хотим, чтоб Израиль существовал и процветал.*

*Ответ на вопрос "может ли диаспора существовать без Израиля?" — можно дать и в других аспектах, частью эмоциональных, частью идеологических. Я солидарен с этими ответами, но в мои намерения не входит превратить эту статью в эмоциональную проповедь или в идеологическую публикацию. Мой подход к проблеме исторический, и, как историк, я могу дать только один ответ: "Слишком поздно!" Существование диаспоры без Израиля было, очевидно, возможно в 1950 году; оно было возможно (хоть и с трудом) в 1960 году; в 1975 году диаспора без Израиля обречена на гибель!*

*В ходе национальной революции, которую прошло еврейство в последнем поколении, многое было достигнуто, но и многое потеряно. Сегодня число евреев, для которых заповеди иудаизма важнее нужд*

## БУДЕТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД В XXI ВЕКЕ

*Израиля, непрерывно уменьшается. Мы живем в мире, в котором властвует национализм, а религия отступает. Еврейство расцвело, как религия, когда положение религии в мире было очень высоким. Если национализм потерпит неудачу, то возвращение в лоно религии, будет анахронизмом.*

*Евреи США, которые видят с близкого расстояния сотни различных религий и сект, не хотят замечать превращение еврейства в аналогичную секту. Но если еврейство потеряет свой национальный характер, то такое превращение станет неизбежным. Любавичский ребе в Нью-Йорке превратится в еще одного чудаковатого "гуру" в разноцветном американском ассортименте вер, сект и культов. То же самое случится и с другими еврейскими группами. Возможно, останутся несколько островков, которые сконцентрируются вокруг центральных раввинских школ, но можно предположить, что и они со временем придут в упадок. Смешанные браки, которые сейчас считаются опасностью, будут считаться благословением, когда еврей в диаспоре потеряет свою национальную индивидуальность и гордость.*

*Этот прогноз может показаться слишком пессимистическим. Но он окажется наиболее вероятным, если мы вспомним, что в последние поколения произошел упадок не только религии, но и двух других основных компонентов, требующихся для существования нации: территории и языка. Если Израиль исчезнет с политической карты, то с ним исчезнет еврейский язык (иврит) и не останется ни одного универсального общего языка, могущего заменить его. В течение этого века иврит превратился из языка молитв в язык нации. Без Израиля не может существовать связь между еврейским прошлым и еврейскими общинами всего мира.*

*Что же касается территории, то история последних поколений доказывала, что вне Израиля у евреев нет никаких корней и поэтому они не могут образовать общины, способные к длительному существованию. Случаи продажи или оставления "древних" тридцати-сорокалетних синагог и постройки новых в удаленных пригородах показывают, что еврейство не может вернуться за защитные стены "гетто".*

*Евреи блуждают из города в город, из государства в государство в поисках необходимого ядра для образования постоянного традиционного фундамента, который будет поддерживать их национальную индивидуальность. Однако их попытки не увенчиваются успехом. Без Израиля им будет недоставать того связующего звена, которое может сохранять их еврейскую сущность.*

*Ко всему этому мы должны прибавить демографическую слабость еврейского народа. 100 миллионов сильнее 10-ти гораздо больше, чем в десять раз. Евреи без Израиля станут только каплей в море, и не будет никакой силы притяжения, которая сможет их объединить.*

*В мире, насчитывающем больше пяти миллиардов человек, можно с*

*большой легкостью списать со счета десять миллионов. Низкая рождаемость, огромный рост смешанных браков и потеря гордости, связанной с еврейской сущностью, сделают остальное. Два поколения спустя после исчезновения государства Израиль, еврейство станет историческим эпизодом и не больше того.*

*Если этот анализ действительно верен, то что же мы должны делать? Мне кажется, что первым и самым значительным шагом будет признание того, что существование еврейской нации находится в опасности. Мы все должны объединиться в борьбе за продолжение этого существования. Мы живем в очень неустойчивом мире, в мире, надежды которого на лучшее будущее были развеяны — снова и снова в продолжение этого века — в 1914, 1929 и 1939 годах. Мы должны будем, очевидно, присвокупить к этому списку и нынешний год.*

*Центральная проблема, стоящая сегодня перед еврейским народом, — это безопасность Израиля. Для того чтобы ее утвердить, израильское население должно вырасти, включить большинство еврейского народа, его творческую силу и экономическую мощь. Мы должны стремиться к иммиграции в 100 тысяч человек ежегодно в ближайшие годы и вдвое больше в течение следующих лет.*

*Израиль, со своей стороны, должен претерпеть ряд внутренних перемен, чтобы сделать возможной акклиматизацию всех этих евреев. Евреи диаспоры должны принимать более активное участие в политике Израиля в социальном, а также культурном и даже международном планах.*

*До сих пор евреям диаспоры не удавалось влиять на евреев Израиля посредством своей финансовой поддержки. Но если бы они посылали в Израиль сто—двести тысяч человек ежегодно, то могли бы это сделать. Только таким путем можно достичь подлинного единства между Диаспорой и Израилем, единства, которое обеспечит существование еврейского народа в бурном и опасном будущем.*



# АМИК (ЭММАНУЭЛЬ) ДИАМАНТ

## КАМО ГРЯДЕШИ?

### 1. "ГРАЖДАНЕ, ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ..."

*Вот и пришел день, когда "директорат" нашего "Аршаха" соизволил, наконец, подписаться на периодику, издающуюся для русских олим в Израиле. Рядом со стендом новой научной литературы и технической периодики появились и медленно начали толстеть несколько подшивков.*

*Откровенно говоря, до моего сознания это дошло не сразу. – Длительное отсутствие газет превратило уже почти в привычку отсутствие интереса к ним.*

*Но вот однажды я вдруг прочел их. Все сразу, в несколько дней, без прорыва.*

*Если я скажу, что почувствовал себя после этого чтения полнейшим идиотом, вы, конечно, мне не поверите. И будете правы. Потому что не себя, а вас, уважаемые читатели (и писатели) русскоязычной прессы, почувствовал я идиотами. Но если сказать вам это прямо, что вы мне ответите?:*

*– Сам! Сам идиот!*

*И будете в подавляющем большинстве. И, как всякое большинство, будете правы. Так пусть уж все с самого начала будет по-вашему: не вы, а я. Так даже лучше. Потому что сразу же избавляет меня от неловкости, когда чуть ниже придется повторять целый ряд банальностей и общеизвестных истин, чтобы быть вами понятым. Мне почему-то очень хочется, чтобы вы меня поняли.*

### 2. ЗАЛЕЖАВШИЕСЯ НОВОСТИ.

*Ах, как это было весело в 1971 году – каждый день приземлялся в Лоде самолет, и они спускались по трапу. Молодые и веселые, как в фельетонах Кишона. И все, как один – академаим.*

*– Инжене'г? И жена тоже инженере'г? Скажите, что, все евреи в СССР инженере'гы? Скажите, что, все евреи хотят приехать в Из'гаиль?*

*Ну, насчет того, хотят ли все евреи приехать в Израиль, это еще нужно было запастись терпением и увидеть. Но вот что касается инженеров – это можно было проверить тут же, не отходя от кассы. В конце 1971 года (по данным автора) приезжали:*

---

Диамант Эммануэль (Амик) – активный участник Еврейского национального движения в Кисеве в 60-е годы, инженер-электроник. В марте 1971 года репатрировался в Израиль, работал в Тель-Авивском университете. С конца 1973 года живет на Голанах – вначале в поселении "Алия-70", затем в научно-промышленном поселении "Аршах". В №№ 2–3 журнала "Сион" публиковалась его статья "За новое, за старое..."

## АМИК (ЭММАНУЭЛЬ) ДИАМАНТ

|                                |         |                      |
|--------------------------------|---------|----------------------|
| 1. Инженеры                    | – 12,8% |                      |
| 2. Техники                     | – 10,1% |                      |
| 3. Экономисты                  | – 4,2%  |                      |
| 4. Учителя                     | – 4,2%  | Всего 37% академаим. |
| 5. Врачи                       | – 3,9%  |                      |
| 6. Артисты и вольные художники | – 3,0%  |                      |

В 1972 году (по данным Министерства Абсорбции) прибыли:

|             |         |                                       |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| 1. Инженеры | – 10,0% |                                       |
| 2. Техники  | – 11,0% |                                       |
| 3. Учителя  | – 10,0% | (Подробные данные не детализированы.) |
| 4. Врачи    | – 4,9%  | Всего 42% академаим.                  |
| 5. Прочие   | – 6,1%  |                                       |

*Все эти (а также другие) данные довольно точно повторяют структуру еврейского населения в СССР (по данным переписи 1959 года):*

|                             |         |                      |
|-----------------------------|---------|----------------------|
| 1. Инженеры                 | – 9,8%  |                      |
| 2. Техники                  | – 10,0% |                      |
| 3. Учителя                  | – 4,9%  |                      |
| 4. Врачи                    | – 4,5%  | Всего 37% академаим. |
| 5. Экономисты               | – 5,0%  |                      |
| 6. Ученые и работники науки | – 2,8%  |                      |

*Разумеется, все это – лишь более или менее приблизительные оценки, которые изменяются во времени и пространстве. Например, данные переписи 1970 года дают для еврейского населения РСФСР 46,8% академаим. Но именно как оценки они и интересны. Не поленитесь, дорогие читатели, – прикиньте, сколько академаим получается, ну, хотя бы на 100 000 олим, уже прибывших из России. Прикинули? Прекрасно. А теперь сравните это с тем, что уже было в Израиле до вашего приезда:*

*В марте 1971 года в народном хозяйстве Израиля было занято:*

|                         |          |                                      |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| Инженеров               | – 10.000 |                                      |
| Техников                | – 27.000 |                                      |
| Врачей                  | – 12.000 | Всего 55.000 академаим (без армии) . |
| Ученых и исследователей | – 6.000  |                                      |

*Сравнили? Поняли? Если это поняли, значит и меня начинаете понимать. Значит, и вам чуть-чуть не по себе, когда после двухлетнего перерыва вдруг открываешь газету и убеждаешься, что за прошедшие годы никто не поумнел и никто ничего не понял.*

*Каким жалким убожеством выглядят все наши патенты эффективной абсорбции. Как смешны эти скоропалительные советы и громогласные призывы: Уничтожить пакидов! Отменить "квиют"! Дать ход алие! Расширить! Развить! Построить! Дать!*

*Ах, мои умные, умные евреи.*

*Ну, при чем тут израильская бюрократия? При чем тут Мисрад Клита? Им просто некуда вас устроить. Не-ку-да! Неужели вы этого до сих пор не поняли?*

*При чем тут "квиют" и эти бурные страсти вокруг него, и призывы к его отмене (с одной стороны), и столь же страстные мечты получить его (с другой), и хитроумные предложения ввести особый "квиют" для олим ("Наша страна", 31.7.75). Вы что, действительно верите, что половина из 55 000 вот так, ни с того ни с сего, вдруг подвинется и безропотно уступит место вам – 22 000 академикам из СССР? (А ведь это еще не вечер, а ведь что будет, если еще 100 000 подвалит?).*

*При чем тут вопли о моральном климате абсорбции, об отсутствии любви со стороны ватиков? Когда об этом говорит Матильда Гез – ладно уж, пусть говорит. Но когда этого требуют олим – это звучит, как протестующий призыв "Полюби меня, котик!"*

*А ватику-котику не до любви-то – он защищается чем может и как может (вспомните забастовку студентов-медиков против олим, вспомните забастовку техников министерства связи против инженеров-олим и прочие "чистосердечные" выражения "любви") – ведь речь-то идет, в конце концов, о куске хлеба. А тут еще война, инфляция и прочие ужасы.*

*И только, пожалуйста, в еврейской страсти немедленно опровергнуть и оспорить все, что угодно, не рассказывайте мне о каком-нибудь Хаиме-Янкеле, который, мол, отличный специалист и потому нашел свое место и прекрасно устроен. Не рассказывайте мне про Ципу Шмындрик, которую ужасно любят на "Тадиране" за то, что она такая трудолюбивая и хорошая. Не стучите себя в грудь, даже если вы этот Хаим-Янкель и есть. Потому что на каждого удачливого Хаима или Янкеля найдется десять неудачливых – таких же Хаимов, таких же Янкелей, таких же умных, таких же опытных, а вот – не тот расклад, не та статистика – и все летит к черту. И ваших нет...*

### 3. И ВАШИХ НЕТ...

*В ноябре 1974 года прибыл стотысячный оле из Советского Союза. Барабаны не били. Всенародного праздника по этому поводу уже не устраивали. Сапир, правда, успел патетически воскликнуть буквально*

перед прибытием самолета: "Даже если приедут 100 000 олим в год – мы сможем принять их всех!" ("Наша страна" 13.09.74), но к этим восклицаниям уже никто всерьез не относился.

Не обращая внимания на Сапира, не обращая внимания на Розена, торжественно обещавшего в ближайшие пять лет устроить 6000 инженеров-олим (там же, 13.09.74), не веря уже никому и ничему, предоставленная сама себе, алия устраивалась как могла. У каждого это выглядело сугубо индивидуально. Но в принципе сводилось к одному и тому же: ердануться совсем или как-нибудь приспособиться.

Каковы истинные размеры ериды – узнать невозможно. Количество "Прямыков" весь 1975 год устойчиво держится на уровне 40% ("Н. С." 17.01.75; 3.08.75). Однако шум вокруг ериды может служить косвенным показателем значимости проблемы.

Цыц, Хаим-Янкель, цыц! Благодарю Бога за его снисходительность к тебе и не рвись в блатную командировку от Сохнута в Вену или Рим уговаривать прямыков и ердунов. Что ты им можешь сказать? В чем ты готов убеждать их? Что есть для них место здесь? Что завтра, максимум послезавтра, будет работа?

Ой, Хаим-Янкель, не бери грех на душу...

Физическая, буквальная ерида, при всем при том, – лишь часть явления. Кроме нее существует тихая, скрытая, почти невидимая ерида, профессиональная. Если верить "Нашей стране" (от 9.09.75) только число организованно прошедших через курсы переквалификации составляет 11 850 человек. Ну, допустим, что не все они олим из СССР, есть ведь и другие. Ну, допустим, приписали к ним еще слушателей семинара в Бейт-Берл, ну сбросим еще на всякие поправки – но ведь все равно волосы дыбом встают. Однако – шекет!

Один только Меир Гельфонд с присущей ему экспрессией вжарил в колокола: "Деквалифицируют олим-инженеров в техников, а общественность не реагирует!" ("Неделя" 6.08.75).

Но при чем тут опять общественность? Да потому и не реагирует, что не Кнессет принял решение деквалифицировать, а сама алия (сама!) выбрала это для себя в качестве альтернативы. Деквалифицируют сами себя!

Рабочая комиссия Кнессета решением от 29.07.74 всего лишь легализовала этот выбор, всего лишь придала ему форму законности. А что ей оставалось делать? После бурных событий в Хайфе в мае 1974 года, когда техники министерства связи бастовали против приема инженеров-олим на должности техников, после того, как профсоюз техников поддержал забастовщиков и пригрозил всеизраильской забастовкой? После всего этого решение Рабочей комиссии Кнессета было благом, стало ключом к "успешной абсорбции" многих и многих.

Читайте газеты, граждане! – "Министерство труда, министерство абсорбции организуют курсы переквалификации лиц с высшим образо-

ванием в управляющих магазинами в мошавах (царханиет)... в управляющих магазинами шекема... в работников социального обеспечения..." "Цагалу в районе Тель-Авива – требуются инженеры-электроники (крупными буквами), согласные работать техниками (мелко) с полным инженерным окладом. Обращаться к Хане, телефон и т. д." И, так далее и тому подобно.

Чего же ты убиваешься, Меир? Ведь с полным же инженерным окладом!.. И только чувствуешь себя полнейшим идиотом (как и сказано выше) среди "нормальных" людей и их "нормальной" реакцией на окружающее – то ли ердануться совсем, то ли утешиться инженерной зарплатой, квиютом и прочими радостями, о которых "мечталось и пелось"

#### 4. "И НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ, КОЛЬ РОЖА КРИВА".

Жил-был Ной. Тот самый. Допотопный. И было у Ноя три сына: Хам, Сим и Яфет. Папаша Ной успешно экспериментировал с соком виноградной лозы и эксперимент, как известно, оказался удачным. Кандидатскую он защищать не стал, но после того, как закончил, напился как следует. Как и положено после защиты.

"И опьянел, и обнажил себя посреди шатра своего". (Бытие XI – 18).

Сыновья, вернувшись домой, увидели срам отца своего и реагировали следующим (общеизвестным) образом: 1) Хам – захохотал, 2) Сим – отвернулся, 3) Яфет – бросился подбирать, что под руку попало, чтобы "прикрыть срам отца своего".

Отсюда ведет свое начало канонический смысл слова "хам". Отсюда, надеюсь, вам будет понятно, что я вкладываю в определение "хамская алия". Ибо по всей своей предыстории, по всему своему сегодняшнему поведению алия наша – хамская.

После 50-ти лет советской власти, разгромившей и разорившей еврейскую жизнь в России, оскотившей не только еврейскую, но российскую интеллигенцию вообще, среди позора и праха своих обманутых отцов очнулось новое поколение советских евреев и – "увидело срам отца своего".

И – захохотало.

И – побежали в Израиль, быстро-быстро напяливая на себя сионизм, как трусы.

И вот прибежали. Зачем? Во имя чего?

← Как это, как это, зачем? – встанете вы на дыбы. – Да ведь мы – сионисты! Мы ж – на историческую Родину! Мы ж – заради идеи!

– Красиво излагаете! Особенно в первые три месяца, когда еще сидите в ульпанах или на сохнутовской стипендии. На протяжении всех четырех лет (исследования Мичиганского университета в 1972 году,



правительственные исследования 1975 года, опубликованные в журнале "Шалом" № 9, 1975) 80% опрошенных олим настойчиво утверждают, что они сионисты. Ах, уважаемые господа, понимаете ли вы, что это значит? Что из этого следует?

40% академаим, т. е. 40% технократов советского толка и тут же 80% сионистов – цифры несовместимые, цифры, опровергающие друг друга. Потому что технократ, это (уже по определению) – гигант на своем узком специализированном поле и ничтожество во всех других областях. Это – эгоцентрист, для которого мир лишь потребитель его узкого знания, которое он почему-то отождествляет с культурой. И чем профессиональный уровень этого эгоцентриста выше, тем выше его эго. И только. И никакой культуры за этим нет, и никакой морали за этим нет. Технократ-философ такой же абсурд, как и технократ-сионист. Либо – либо! И своим поведением вы это прекрасно доказали: прибыв на свою историческую родину, которая оказывается не готова удовлетворить технократические (эгоцентрические) амбиции технократа, что выбирает этот "сионист": ердануться? приспособиться? (С полным инженерным окладом). В то же время 85% из тех 80% "сионистов" на вопрос "Какие мотивы привели в Израиль ваших друзей и знакомых?", не моргнув глазом, ответили: "Шкурные интересы, желание получше устроиться!" (Исследования Мичиганского университета 1972 г.).

Какая философская глубина! Какая душевная щедрость технократического эго! После всего этого задушевный мотивчик "Эйн тарбут ба арец!" выглядит просто мелким шлягером.

## 5. ЛОГИКА, КОТОРАЯ ВЫГЛЯДИТ ДЛЯ ВАС АБСУРДОМ.

А страна эта – творение сионистов. А страна эта – для сионистов. И как 20 лет назад, и как 50 лет назад – мечтает об алии, рада ей, и счастлива, когда она прибывает. Вот они – молодые и сильные, умные и веселые, как в фельетонах Кишона, спускаются по трапу в Лоде, и заплаканная Голда целует их, встречая. Завтра они отправятся в Негев, в Сде-Бокер, где Бен-Гурион заложил основы будущего Гарварда, они пойдут на Голаны и в Галилею, они расширят и преобразят Израиль, придадут ему новое лицо, перельют в него свои силы. Завтра...

– А вот вам! А вот это вы видели!

И сидит "сионист" в кабинете у Голды ("Н. С." 29.08.75) и поучает старушку: "Вот, пакидов развели, нехорошо; вот, страна слабо развитая – нехорошо; вот, технократы убегают – нехорошо. Что ж вы, матушка, так оплошали – мы уже здесь, а ничего не готово?!"

А Голда целует его в лобик – сколько уже таких прошло перед ней? Сколько сидело, и поучало, и качало права, и давало умные советы... Ну, хоть кто-нибудь да вперед же! Это ваша страна, это ваш дом, и единственная надежда – это вы! И единственная дорога לבנות ולהבנות – строить, отстраивая себя!

## 6. КАМО ГРЯДЕШИ?

Вы, конечно, в своей сионистской нормальности, лениво удивитесь:  
– Ну, и как, пошли?

Представьте себе. Уже пошли.

Хамский характер преопределил, конечно, что движение в этом направлении началось без каких-либо попыток осмыслить и хотя бы "теоретически" описать "что строить"? "где"? "как"? Из отдельных попыток такого рода известны только: статья самого автора "За новое, за старое, за десять лет вперед" ("Сион" № 2 в 1972 г.), статья Э. Финкельштейна "Алия и клита, мораль и политика" ("Н. С." 8.05.74), статья профессора А. Воронеля "Алия интеллигенции из России" – вообще неопубликованная, а распространенная самиздатовским способом "Общественным советом солидарности с евреями СССР" в мае 1975 г. За свою статью в 1972 г., которой редакция причесала уши и убрала кое-что "лишнее" меж ногами, автор все-таки удостоился нескольких окриков в стиле "А ты! А ты кто такой?!" в следующем выпуске "Сиона". Статью Финкельштейна не удосужились заметить. А Воронеля – как и сказано, – даже печатать не стали.\* 18 русских изданий в Израиле (демократических, независимых) обильно потчуют своих читателей переводами из "Плейбоя" и хорошо оплаченной рекламой. Не до Воронеля же им, право...

Однако, вернемся к делу.

После нескольких лет инфантильного барахтанья прорезались тут и там отдельные группы русских олим, явно или не явно отбросившие выбор между общепринятыми альтернативами и начавшие искать третий (старый, сионистский) путь – строить эту страну, строить ее для себя и для других, для тех, кто еще придет, не путаясь под ногами и не давая умных советов другим, – а по образу и подобию своему! Для себя!

Каков этот образ и как выглядят эти подобию в трактовке каждой из этих групп, пока еще, как сказано выше, не вполне понятно и самим этим группам. Полагая, однако, что дурной пример заразителен и облегчит дело продолжателей, попытаемся разобраться хотя бы в некоторых принципах, на которых стоит научно-промышленное поселение русских олим "Аршах" – лаборатории прикладных наук. Может быть, это даст хоть какое-то представление о том, "что" строить, "где" и "как". Поскольку "Краткого курса истории Аршаха" еще не существует, и по четвергам на политзанятиях в головы не вдалбливается, то изложение упомянутых принципов нужно принимать как нечто весьма субъективное и со всеми присущими автору недостатками.

Итак, строим. Что? – Научную индустрию, научно-промышленный

\*Эта статья писалась в августе–сентябре 1975 г. Статья Воронеля была опубликована в конце октября в 11 номере журнала "Сион". (Прим. автора).

*комплекс. Почему научно-промышленный комплекс? – Потому что так надо, потому что таким мы видим Израиль.*

*Не правда ли, очень убедительно? Когда некоторое время тому назад писался черновик, эта часть выглядела не как постулат, а как теорема, которую требовалось доказать. И, разумеется, находились и приводились соответствующие доказательства, мысли и высказывания умных людей, цифры и факты – все это, собранное автором в кучу, толпилось перед ним, выстраивалось и перестраивалось в некую очередь, терпеливо ждущую своего места и своего часа.*

*И как в любой очереди, которая долго стоит, появился в ней некий субъект, некий Хаим-Янкель, расталкивающий других локтями и бесцеремонно рвущийся вперед со своими "доводами", которые вкратце сводились к следующему:*

*"Я, Хаим-Янкель с Бессарабки, как вы совершенно верно заметили ранее, за 50 лет советской жизни приобщился к науке и связал себя с ней. Кроме этого – я ничего не знаю. Кроме этого – ничего не понимаю (и понимать не хочу). Этим я жил, заради этого уехал оттуда, за этим приехал сюда. Если в Израиле не будет науки – мне здесь делать нечего".*

*Вы себе представляете, каково было мне – сионисту из сионистов! герою из героев! – слушать всю эту муть.*

*Я, конечно, отпихивал его, делал вид, что не замечаю, потом кричал, цыкал на него зубом, потом стыдил и урезонивал – он не унимался. Лез, кого-то тащил за собой, кого-то дергал, призывая в свидетели, и визжал, и божился, что он тут стоял, что это его место, и он в этой очереди чуть ли не первый.*

*Работа застопорилась. Дальше писать было невозможно. Вытурить его я не мог, а оставить – совесть не позволяла. К тому же, я тоже немножко технократ и люблю порядок и стройность в доказательствах. Так несколько дней мы и простояли без дела. Потом страсти улеглись, успокоились. Он, видимо, почувствовал, что из очереди его уже не выкинут, пристроился, вытащил книжку Гелбрейта "Новое индустриальное общество" и начал читать, демонстративно ухмыляясь и тыча пальцами в какие-то места, явно привлекая мое внимание.*

*Делать нечего – все равно стоим – я косил глаза через его плечо:*

*"Кейнсианская революция произошла в такой исторический момент, когда другие перемены сделали ее невозможной. В рамках этих перемен изменились силы, которые движут человеческой деятельностью. И хотя это противоречит самому нерушимому из всех экономических постулатов, а именно, утверждению, что человек в своих экономических действиях лишь подчиняется законам рынка, в действительности наша экономическая система, под какой бы формальной идеологической вывеской она не скрывалась, в существенной своей части представляет плановую экономику. И инициатива в вопросе о том, что должно быть*

произведено, исходит не от суверенного потребителя, а от крупной производственной организации, стремящейся установить контроль над рынками и, более того, воздействовать на потребителя в соответствии со своими нуждами.

Потребители и государство не суверенны в своем вопросе, и ими управляют фирмы, снабжающие их товарами и услугами”.

– Ну, как? – торжествуя спросил он, отрывая меня от книги.

– Вы что, – с робкой надеждой в голосе спросил я, в свою очередь, – вы что, действительно верите, что олим ми Русия – это “фирма”?

– Ого! – присвистнул он. – Еще какая!

Для порядка мы еще немного поспорили. И помирились. И тогда теорема (о которой вы уже, наверно, забыли) превратилась в постулат: “Израилю нужна наука, Израилю нужна научная индустрия, наукоемкое производство”. Итак, на вопрос – “что строить?” – ответ следует однозначно: “Научную индустрию, научно-промышленный комплекс”.

Для этого есть все необходимое и достаточное: человеческий материал, устремления “фирмы”, начальный капитал (который сегодня, кстати, успешно разбазаривается мелкими программами, Ури Горовцем, сохнутовскими стипендиями, курсами переквалификации и займами на открытие эсэков).

Разделавшись таким образом с “что?”, приступим к вопросу – “где”. Учитывая нынешнее географическое распределение производства и населения в стране, учитывая неизменную сионистскую задачу – освоение всей территории Эрец Исраэль (а ведь мы – сионисты, не правда ли, ку-ку, 80%), учитывая, что создание научно-промышленного комплекса и его существование обусловлено спектром усилий массы людей – от лауреата Нобелевских премий до уборщицы тети Хаи, – учитывая, что хотя бы на начальном этапе, для сохранения своего лица и самоосознания себя и своих возможностей ему стоило бы держаться подальше от центров “влияния”, мы путем исключения приходим к выводу, что местонахождение этого поля приложения массовых сил не может быть ни в Тель-Авиве, ни в Хайфе, ни в Иерусалиме, и ни в Безр-Шеве. В этом случае выбор между Голанами и Негевом не кажется существенным. Ариша выбрал Голаны. Другие выбрали Синай.

(Я совершенно не касаюсь здесь вопроса, почему бессмысленно закладывать центры такой структуры в рамках существующих предприятий, университетов и проч. – хотя проф. Нейман в Тель-Авивском университете и предпринял такую попытку в 1973 г. – не касаюсь, т. к. проф. Воронель в своей работе уже сформулировал это. Любопытных отсылаю прямо к его работе “Алия интеллигенции из России”. Ищите!).

И остается теперь вопрос “как?” – самый вздорный и самый спорный из всех вопросов.

Совершенно ясно, что создание массового коллектива (или коллективов) в такой ситуации, жизнь концентрированной группы людей,

*объединенных территориально, связанных общей целью, но раздираемых профессиональными задачами, связанных экономической стороной этого дела, но раздираемых личными устремлениями, – создание и жизнь такой структуры не может обойтись без поиска соответствующих социальных форм существования, без соответствующей социальной структуры. (Рассуждения о социологических последствиях такой концентрации – оставляю желающим на доигрывание).*

*Но когда проф. Коган на полном серьезе заявляет ("Неделя" 31.06.74): "Академгородок на Голанах – да! Но никаких социальных поисков. Никаких форм коллективного существования. Исследовательский институт на коммерческой базе!" – автор, с присущей ему бестактностью, отвечает: "Уважаемый профессор, – это бред! Будете строить – будете искать формы коллективного существования, будете отвлекаться на социальные поиски (у нас это происходит каждый божий день). Не будете искать – останетесь сидеть в одиночестве в Хайфе. Третьего не дано, профессор".*

*Разговоры о "коммерческой базе", о рентабельности – тоже типичный аспект вопроса "как?" Как правило они происходят по известной схеме, где один технократ пугает другого экономическими "буквами", и оба испытывают сладостную истому от этого страха – "Мы быка бы на рога, да только шкура дорога. И рога нынче тоже не дешевы..." – на этом, обычно, все и кончается.*

*Но если вы готовы продолжить, тогда позвольте и автору несколько ересей:*

*Если говорить о каком-то прожиточном минимуме, о каком-то жизненном стандарте, то в развитом обществе, как правило, стандарт обеспечивается при любой деятельности. (Даже в Аршахе).*

*Когда в оборот пускается капитал – естественная прибыль на него деньги. Но если говорить о научном производстве, о научной деятельности, когда в оборот пускается знание, то естественная прибыль на него – прибавочное знание! Денежное выражение этой прибыли далеко не всегда можно оценить заранее, даже, пожалуй, почти никогда. Предположить обратное, значит допустить, что некто, финансируя работы супругов Кюри (и они сами, разумеется), заранее знал, что в свое время он сможет нажиться на поставках ядерного оружия или атомных электростанций. Или что другой некто, финансируя работу Бардена и Бреттена над первым транзистором (тогда понятия-то такого еще не было), был уверен, что в будущем сорвет куш на поставках компьютеров в СССР или карманных калькуляторов в Израиль. И не только знал, – умел это вычислить.*

*И еще одно соображение – даже оценив в деньгах это коллективное прибавочное знание, как разделите вы его между Хаимом, Янкелем и Циперовичем!? Здесь еще один вывих технократического эго, которое полагает, что в своем уникальном лице оно вывезло из СССР некий*

*капитал в форме своих знаний, и на этот капитал ему теперь причитаются дивиденды. Но ведь это же – чушь! Сам по себе, индивидуально, этот капитал – ноль, стекляшка от люстры!*

*Сегодня подавляющее большинство мается со своими стекляшками, пытаясь пристроить их к уже готовым, сияющим люстрам. Так кажется надежней. И у некоторых даже блестит. Ну и пусть блестит! Только будучи собранными в новую структуру, в новый рисунок, в новую схему, эта бесформенная масса стекляшек, надерганных с люстры советской науки, сможет создать из себя новую люстру. И воссиять.*

*– А сколько будет стоить такая люстра?*

*Ну вот мы и вернулись к сказке про белого бычка. Следующий круг рассуждений типа "как" кружите сами. С меня пока хватит. Потому что после всех "теоретических" споров о "как" нужно спускаться в Аршах. Он живет, ему уже более года. За прошлый год объем выполненных им работ составляет 180 000 лир. Предполагаемый объем текущего года – полмиллиона. Подавляющее большинство сегодняшних работ Аршаха (в том числе и исследовательские работы) – иницированы нами, начаты нами и лишь спустя некоторое время нашли своих заказчиков. И когда мы это говорим – мы знаем, что стоит за всем этим.*

*Вот так, уважаемые господа. А вы – камо грядеши?*

Аршах. Сентябрь 1975 г.

## ИЛЬЯ РУБИН

### РУССКОЯЗЫЧНАЯ КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И АЛИЯ

Среди споров вокруг будущего алии проблема книжной культуры занимает незаслуженно скромное место. Очевидно, израильская общественность еще не успела осознать громадного ее значения для всей массы русско-еврейской интеллигенции. А между тем, пренебрежение ею может иметь самые печальные последствия и в деле стимулирования дальнейшего процесса алии, и для благополучного укоренения русских олим в израильскую почву. Но прежде обсуждения самой проблемы, попытаемся конспективно наметить ее исторические контуры.

Литература в России всегда отличалась от параллельных ей западных литератур высокой степенью социально-политической завербованности. Так, если "Слово о полку Игореве" являет собой развернутую историософскую концепцию, германский эпос "Песнь о Нибелунгах" — не более, чем сумма биографий. Для автора "Слова" — как для Некрасова — нет добродетели вне гражданственности. И много веков спустя литература продолжала служить для русского читателя чуть ли не единственным источником общественно-политических идей. Гончаровский "Обломов" был в России в первую очередь не гениальным романом, но экономическим памфлетом. "Мертвые души" — памфлетом антифеодальным, а поэма Блока "Двенадцать" — репликой в поддержку наркома Луначарского. Издревле и до сегодня разговор о гражданственности был в России монологом интеллигента. Но литература придавала этому монологу видимость диалога.

В наши дни наркотическая погруженность в мир книжных героев дает русскому интеллигенту (еврею — в особенности) иллюзорную возможность утолить снедающую его жажду справедливости, сублимировать в чтение бессильное желание быть порядочным в поступках. Свирепость советской цензуры и вызываемый ею острый информативный голод создают у многих странное искажение социального восприятия — упомин-

нение проблемы зачастую подменяет собой ее разрешение. Так, простая констатация официальной прессой недостатков в снабжении населения мясом интерпретируется демократически настроенной интеллигенцией как проявление растущей либерализации режима — вне зависимости от того, будут ли устранены упомянутые недостатки и появится ли в магазинах мясо.

Из всех мыслимых свобод воображению советского интеллигента доступна, в сущности, лишь свобода печати. Наличие дозволенной литературы о лагерях могло бы почти примирить интеллигенцию с самим существованием в СССР системы лагерей.

Сейчас много пишут и говорят о религиозном возрождении в России. Не вдаваясь глубоко в обсуждение этого сложного вопроса, можно, однако, с уверенностью утверждать, что процесс возрождения пока не затронул самых основ советского общества. Оно было и остается совершенно атеистичным. Отсутствие религиозной дисциплины, безверие, неизбежно приводят к усилению в обществе гедонистических тенденций. Причем экономические условия не позволяют реализовать эти тенденции в сфере потребления (как это происходит в странах Запада).

Для русского человека в спектре возможных удовольствий с литературой успешно конкурируют водка и секс. Но для еврея в силу многовековых национальных традиций и то, и другое неприемлемо — и остается только литература. Есть, правда, еще и зрелищные искусства — кино, телевизор, театр. Но, во-первых, они подвергаются несравненно более тщательной цензуре, чем книги, и, во-вторых, изучение иностранных языков, самиздат и нелегальный привоз западных изданий позволяют российскому интеллигенту значительно расширить и обогатить круг своего чтения — зрелищные же искусства по самому своему характеру почти лишены таких возможностей.

Советский режим считает себя режимом идеологическим. Всякое высказывание — устное или письменное — в советских условиях необычайно весомо. Во многих случаях оно равнозначно поступку — как психологически, так и по своим последствиям. Отсюда — высокое место, отведенное писателю



(официально признанному) в Советском Союзе; наряду с партийными функционерами (тоже, кстати, служителями идеологического культа), писатели отчасти заменили собой уничтоженную революцией аристократию. Это касается не только степени общественного престижа, но и чисто материальных привилегий. Роман Булгакова "Мастер и Маргарита" социологически безупречно зафиксировал эту, безусловно, уникальную особенность коммунистической России.

Советская идеология периодически вторгается в, казалось бы, совершенно неподотчетные ей области — естественные науки, медицину, математику. Часто ученому приходится доказывать, что его открытие не противоречит хотя бы косвенным образом канонам марксизма-ленинизма. Время от времени целые отрасли знания объявляются вне закона (генетическая биология, кибернетика). В этих условиях сознание ученого насильственно гуманитаризуется. В защитных целях он должен овладеть псевдофилософской терминологией советского марксизма, регулярно посещать политзанятия или вести их самому. Открытое проявление равнодушия к общественным проблемам может быть уже расценено как преступление. Но природная и привитая основной профессией любознательность толкает ученого выйти за рамки официальной идеологии, т.е. значительно расширить круг непрофессиональных интересов за счет домашнего чтения общегуманитарного характера.

Система привилегий распространяется в Советском Союзе не только на продукты питания, одежду, квартиры, поездки за границу и т.п. Информация в самом широком смысле этого слова тоже является предметом государственного распределения на всех уровнях — начиная от спецмагазинов, где средняя и мелкая советская элита приобретает книжный "дефицит", и кончая так называемыми "номерными" изданиями, предназначенными для чрезвычайно узкого круга высших партийных функционеров.

Номерным способом издают Солженицына, Роже Гароди, Маркузе и других, запрещенных к чтению и даже к упоминанию, иначе, чем в бранном смысле, писателей и философов. Степень общественной престижности во многом определяется

для интеллигента степенью доступности для него тех или иных "закрытых" и "полузакрытых" источников информации.

Одному моему знакомому уплатили за перевод объемистой рукописи с иврита на русский годовым пропуском в какой-то один из залов Библиотеки общественных наук (не только сама Библиотека, но и каждый ее зал охраняются вооруженными часовыми). Эту плату мой знакомый счел весьма щедрой, хотя отнюдь не был богат.

В самых широких кругах советской читающей публики принято иметь большую личную библиотеку, тратя на ее пополнение заметную часть своих доходов. Причем движет людьми не только желание иметь всегда под рукой любимого автора — покупка книг в СССР есть один из наиболее надежных, выгодных и безопасных способов помещения капитала.

Во-первых, книги непрерывно повышаются в цене (и это при сравнительно устойчивом курсе советского рубля); некоторые издания уже в момент их выхода в свет оцениваются спекулянтами и коллекционерами гораздо выше номинала.

Во-вторых, библиотеки реже всего подвергаются насильственной конфискации, почти не привлекая внимания добровольных доносчиков и сотрудников органов государственного финансового сыска (фининспекции, ОБХСС), в то время как владение любым другим видом собственности — автомашиной, дачей или большой коллекцией марок — может стать для владельца источником крупных неприятностей.

В-третьих, наличие громадного числа библиофилов создает идеальные условия внутреннего книжного рынка, когда реализация капитала, помещенного в книги, может быть легко осуществлена в несколько дней — на наличные и без чреватого трагическими последствиями посредничества государственных учреждений.

Наконец — и это очень важно — сравнительное определение круга чтения — для советского интеллигента почти единственный способ "узнавания своего". Два вопроса — читаешь ли ты? и — что ты читаешь? — открывают собой многолетние дружеские связи, по ним судят о принадлежности человека к тому или иному страту общества, о его отношении к власти,

мировоззрения и строе души. Сумевшие достать для прочтения "Архипелаг ГУЛаг" или "Из-под глыб" сцементированы самим этим фактом не менее прочно, чем масоны или члены запрещенной религиозной секты. Подобный неформальный способ стратификации давно уже принят советской интеллигенцией и неотделим от ее образа жизни и образа мыслей.

У евреев — народа Книги — благоговение к печатному слову вошло в плоть и кровь. Равнодушие к иудаизму последних трех поколений русской диаспоры не отметило этого благоговения — лишь сдвинуло область его приложения. Приобщение к русской культуре в свое время послужило одним из самых мощных орудий ассимиляции. Но сейчас положение дел существенно изменилось. Национальное возрождение советских евреев ныне самым тесным образом связано с еврейской литературой на русском языке — и переводной, и, в первую очередь, оригинальной. Самоидентификация еврейского интеллигента в России происходит в рамках русского языка — ибо только он дает возможность адекватного самовыражения.

Культурологическое и просто агитационное значение еврейской литературы на русском языке трудно переоценить. Даже традиционные национально-религиозные ценности иудаизма komponуются в сознании русско-еврейского интеллигента из элементов с детства близкой ему русской культуры. Этим объясняется, в частности, популярность в еврейских кругах Союза философии Мартина Бубера и Франца Розенцвейга — именно они, писавшие не на иврите, легче других иудейских мыслителей современности переводимы на язык понятий, доступных советскому интеллигенту.

Только творчески используя все богатство русской и европейской культур, еврейская религиозность и еврейский национализм смогут реально противостоять натиску коммунистического атеизма и христианского космополитизма. И еврейская культура на русском языке должна не только существовать де-юре — она обязана быть интеллектуально и духовно сопоставимой с вершинами, достигнутыми современной западной и русской мыслью, — эти вершины гораздо лучше известны в России, чем думают в Израиле и на Западе. Было бы

опрометчиво надеяться лишь на генетический патриотизм русских евреев, не учитывая свойственного им интеллектуального скептицизма, привычки к высокому уровню обсуждения любого вопроса. Помочь советскому интеллигенту еврейского происхождения осознать себя евреем — значит предложить альтернативу Достоевскому, Бердяеву, Сартру, Лосскому, Франку, Шопенгауэру. Это — задача не из легких.

На фоне вышесказанного равнодушие израильского общества к этой важнейшей составляющей ментальности русско-еврейского интеллигента выглядит странным, если не сказать больше. Показательно, что даже отказнику в Москве более доступны Солженицын, Синявский, "Континент", чем русскоязычная еврейская литература, хотя провезти ее в Союз неизмеримо легче, а хранить — гораздо менее опасно. Невозможно достать даже Танах в русском переводе — найти христианскую Библию намного проще. Стоит ли разъяснять, совместим ли зарождающийся еще хрупкий интерес к иудаизму с христианской интерпретацией Писания, включающего к тому же апокрифические книги и Новый Завет.

Но даже и то, что доходит, чаще всего внушает недоумение своей безадресностью и непониманием запросов мыслящей части русского еврейства. И, как ни склонны мы во всех своих бедах винить советскую власть, на сей раз она не при чем. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести несколько недель в Израиле, побывать в книжном магазине и поговорить с причастными к проблеме людьми.

Положение русскоязычной литературы в Израиле воистину прискорбно. Не в состоянии выполнить бессмысленное на данном этапе требование самокупаемости, она стоит на грани между постыдным нищенством и голодной смертью. А библиотеки в центрах абсорбции — пусты; на полках книжных магазинов царствует "Посев", "Имка-пресс" и Госиздат. Сейчас же по приезде в Израиль в духовной жизни новоприбывшего, брошенного на произвол судьбы, образуется абсолютный вакуум — не зная иврита, он автоматически воспринимает отсутствие русскоязычной культуры как отсутствие культуры вообще. И вот тут-то и возникают с волшебной быстротой два вида

беженской философии — ностальгическая, вздыхающая о былом культурном величии, и потребительская, усваивающая из всего предлагаемого ей многообразия ценностей свободного мира марку американского автомобиля и унитаза в сиреневый цветочек.

Советский интеллигент привык, что печатное слово постоянно вызывает к его идеализму. Без этого он превращается в кратчайшее время либо в эгоистичного обывателя, либо в мизантропического, озлобленного аутсайдера. А ведь он активно пишет (и, чем ему хуже, тем активнее) своим друзьям и родственникам в Союз, где, как мы уже говорили, всякое высказывание необычайно весомо. И читает его письма не только адресат, но и все, кому адресат в достаточной степени доверяет. Надо ли после этого удивляться уменьшению алии, надо ли сокрушаться из-за того, что все больше евреев (и, чаще всего, именно интеллигентов) едут мимо Израиля!

Мне уже довелось не раз слышать обвинения в адрес советской алии — и в безынициативности, и в отсутствии халуцианского духа. Но учитывают ли обвинители, что оле хадаш, в материальном смысле более или менее ухоженный, в духовной сфере полностью предоставлен сам себе? Что его инертность — не врожденное качество — в Союзе он проявлял чудеса сноровки, изворотливости и самоотверженности, доставая для прочтения запрещенную литературу. Что сама подача заявления в ОВИР — результат повышенной динамичности мышления, умения ориентироваться в нестандартной ситуации. Что пассивность новоприбывшего — ответ на безразличие к его духовным запросам, к специфике его внутреннего мира.

Именно это пренебрежение к сложившимся в течение десятилетий культурным ожиданиям русско-еврейской интеллигенции формирует из нее аморфную, лишенную структуры массу, сопротивляющуюся творческой интеграции и сотрудничеству с израильским обществом.

Работники системы абсорбции и активисты алии в Израиле должны осознать первостепенное значение русскоязычной культуры для самого существования советской алии. Пока что создается впечатление, что даже просьбы известных еврейских

деятелей, находящихся в России, — помочь им с литературой — никем в Израиле не принимаются всерьез. А ведь эти просьбы — нет, не просьбы — мольбы! — ни в коей мере не пропагандистский трюк! Десяток хороших израильских книг на русском языке принес бы советским евреям больше пользы, чем переговоры главного раввина Англии Якубовича с Ароном Вергелисом!

Попробуем вкратце наметить — что могла бы дать алие активная, развитая израильская русскоязычная культура, пользующаяся уважением и финансовой поддержкой.

Прежде всего — подробно информировать новопривывших о структуре и особенностях израильского общества, о его трудностях, возможностях и задачах. Сейчас все это передоверено рекламным брошюркам израильских банков, склонных рассматривать оле хадаша только как потенциального вкладчика или потребителя. Подобные брошюры, если им ничего не противопоставить, способны в самое короткое время стимулировать возникновение иждивенческой психологии, ориентированной исключительно на приобретение материальных благ. При этом надо учитывать, что непривычный к рекламе советский человек беззащитен против интервенции самой беззастенчивой, лживой и глупой рекламы.

Необходимо продолжать информировать русскую алию о жизни евреев в СССР и о борьбе советского еврейства. Это позволит русским олим как можно дольше не порывать связи с той средой, из которой они вышли, не забывая те идеалистические побуждения, что толкнули их на отъезд. "Короткая память" способствует быстро омещаниванию алии.

Очень важно снабдить русских олим серьезной и доступной их пониманию религиозно-философской литературой, способной приобщить их к миру иудаизма. Причем начинать надо не с ритуально-обрядовых тонкостей, а с погружения в духовную сущность религии, в ее существенно-позитивную содержательность.

Надо резко увеличить число переводов с иврита и с других языков, открывающих неизвестный советскому оле интеллектуальный и духовный мир израильского и западного еврейства.

Спектр таких переводов должен быть максимально широк — от стихов Давида Авидана до романов Маламуда и Сола Беллоу.

И самое главное — стимулировать к творческой активности пишущую часть еврейской русскоязычной интеллигенции. Существующая ныне в Израиле ситуация делает из гуманитариев заведомых аутсайдеров и потенциальных реэмигрантов. К чему это приводит — ясно высказано в статье Александра Воронеля "Алия интеллигенции из России" ("Сион" № 11): "К сожалению, уже сейчас больше, чем нужно, музыкантов, киношников и журналистов покинуло Израиль. Техническая интеллигенция в Израиле и в СССР гораздо сильнее связана с этой группой, чем это может казаться, исходя из общих соображений. Настроение этих беглецов самым непосредственным образом сказывается на настроении евреев в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве".

Сейчас ни одной из этих задач русскоязычная культура Израиля решить не способна. Наиболее активная и настойчивая часть пишущих и читающих вынуждена обращаться к эмигрантским изданиям Запада. Равнодушная к еврейским проблемам, а зачастую и враждебная еврейству ориентация этих изданий общеизвестна. Но для большинства альтернативой русской культуре является полное бескультурье, одичание. Как это ни парадоксально — отсутствие русской культуры отрицательно отражается и на стремлении овладеть литературным ивритом — долгое прозябание вне сферы духовных интересов отбивает охоту приобщаться к какой бы то ни было форме культуры.

Что можно предложить для исправления этого ненормального, печального положения?

1. Перестать требовать от русских изданий самоокупаемости. Это так же бессмысленно, как требовать прибыли от отказников, сидящих ныне в Советском Союзе. Если можно считать прибылью увеличение в будущем алии, то затраты на русские издания с лихвой окупятся.

2. Поддержать уже выходящие на русском языке журналы — бедность не дает им возможности платить авторам, содержать достаточный для нормальной работы технический персонал, что

приводит к резкому снижению качества изданий. Помочь этим журналам выйти на европейский и мировой книжные рынки.

3. Способствовать возникновению новых изданий – если они обещают быть жизнеспособными.

4. Увеличить количество стипендий для новоприбывших писателей, журналистов и деятелей культуры.

5. Сделать все, чтобы привлечь к сотрудничеству русскоязычное западное еврейство.

6. Уделять больше внимания вопросам культуры в передачах израильского радио на русском языке. Добиться регулярных телевизионных программ для русских олим. Это, кстати, во многом решило бы вопрос занятости авторов.

7. Оказать финансовую помощь русским библиотекам – в особенности библиотекам в центрах абсорбции. Дать им возможность подписываться на все русскоязычные периодические издания – и не по одному экземпляру. При маленьких израильских тиражах, это могло бы существенно помочь и самим изданиям.

8. Резко увеличить количество литературы, посылаемой всеми каналами в Советский Союз.

9. Ввести льготы для олим хадашим на покупку книг.

Все это поможет смыть печать второсортности и общественного презрения с лица русскоязычной израильской литературы, потенциально обладающей всем, необходимым для полноценного существования – и читателями, и авторами. Со временем она сможет выполнять и требование самокупаемости – я в этом совершенно уверен. Но сегодня она нуждается в помощи. Помочь ей – значит помочь алие перебросить мост в израильское общество и оправдать возлагаемые на нее обществом надежды.







ПАМЯТИ

ЕФИМА

ДАВИДОВИЧА

24 апреля в 19 часов 30 минут в Минске умер ветеран войны полковник в отставке Ефим Аронович Давидович.

Еврейский народ потерял прекрасного сына, наша страна – великого гражданина, я же – лучшего друга.

Ефим Давидович родился 2 мая 1924 года в Минске. Отец Давидовича, Арон, был ветераном первой мировой и гражданской войн, прослужив 10 лет, с 1913 по 1923. В годы первой мировой войны он за храбрость был награжден самым высоким для еврея царской армии отличием – Георгиевским крестом и произведен в ефрейторы.

Родным языком в доме Давидовичей был идиш. Всех детей назвали настоящими еврейскими именами: Файве, Моше-Хаим, Авром-Иче, Лейзер.

Война застала Давидовича почти у самой новой границы в районе Брест-Литовска. За несколько дней до начала войны он уехал на практику, не зная, что в последний раз видит родителей, братьев, всех родственников.

Немцы захватили Минск на 5-ый день войны, 27 июня. Очень немногим минским евреям удалось "эвакуироваться". Из родных Давидовича ни один человек не смог убежать на Восток. Всего из членов его обширной семьи погибло на оккупированной территории 78 человек.

Позже, когда в 1972 году "группу минских полковников" хотели судить по антисемитскому делу № 97, заместитель прокурора БССР на одном из допросов сказал Ефиму: "Что вы проповедуете так сильно

еврейскую трагедию, не всех же немцы убивали”. Давидович ему очень логично возразил: ”Моему младшему брату Лейзеру было бы сейчас столько же лет, сколько вам. Вы тоже были на оккупированной территории. Однако убит мой брат, а вы занимаетесь тем, чтобы убить меня”.

По пыльным, пропитанным чужой и собственной кровью, фронтовым дорогам он прошел Украину, Польшу, Германию. И когда все уже салютовали долгожданной победе, он еще участвовал 9 июня 1945 года в штурме Праги, столицы Чехословакии.

В ноябре 1945 года Давидович впервые после войны попал в Минск. Там он узнал о трагедии своей семьи – капле в океане еврейской крови.

Он решил навсегда остаться в армии и стать кадровым офицером. Служил на севере. Это время совпало у него с кампанией борьбы против ”безродных космополитов”, убийством Соломона Михоэлса, установлением секретных процентных норм для учебы в ВУЗах, чисткой аппарата. Было печально и страшно.

Вместе с тем, многие офицеры-евреи переживали радостное событие: провозглашение и становление еврейского национального государства. Давидович мне говорил, что ”была бы у меня возможность, поехал бы добровольцем и с еще большим энтузиазмом, чем против немцев, воевал бы против арабских агрессоров”.

В 1949 году, в год, как Ефим выражался, ”Потока приветствия и подарков отцу народов в честь его семидесятилетия”, в год накала антисемитизма в стране, он все же поступает в Академию им. Фрунзе.

К годам учебы Ефима в Академии относится его близкое знакомство с начальником кафедры ”атомного оружия”, ныне известным борцом за демократические права советских граждан, генерал-майором Петром Григоренко. Из уст Давидовича мне стало известно следующее.

На одном из партийных собраний Академии присутствовал Н. С. Хрущев. Слово взял Григоренко. Наряду с другим, Григоренко сказал так: ”Пользуясь тем, что здесь присутствует Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Хрущев, хочу спросить его и всех присутствующих: Когда будет покончено с антисемитизмом в Советской армии? Я воевал вместе с евреями. Они показали себя бесстрашными, умными воинами. Сейчас в академии нет ни одного неуспевающего еврея. То, что творится по отношению к ним, – позор для партии”.

Хрущев приложил палец к виску, повернул руку вправо-влево, показывая, что у Григоренко чего-то в голове не хватает. Григоренко лишили слова. Назавтра он был отправлен в психиатрическую больницу и ”лечился” там целый год.

Давидович командовал механизированным батальоном, был заместителем начальника штаба дивизии, командиром полка, офицером штаба округа. Везде и всюду его ценили. Он написал много статей, очерков, научных работ по вопросам оперативного искусства. Подготовил более

десяти генералов к защите кандидатских диссертаций, то есть попросту написал эти диссертации. Короче говоря, помогал тем, кто черной неблагодарностью отплатил ему за это.

Его шельмовали планово, продуманно. 10.8.75 в статье "Барьер несовместимости" некий Михайлов, наторивший себе руку на антисемитской и антиизраильской клевете в газете "Советская Белоруссия", писал: "... Такой же двурушник и Ефим Давидович. Как и Альшанскому, ему давно уже не дают покоя весьма сомнительные лавры защитника интересов международного сионизма. Чтобы привлечь к себе внимание, Давидович постоянно фабрикует разного рода клеветнические измышления по поводу советской национальной политики".

Нет, господин Михайлов, Ефим Давидович не был двурушником. Где были вы, когда Ефим проливал кровь, ходил в атаки и стойко держал оборону? Полагаю, что Михайлов уже тогда подвизался в КГБ, тренировался подглядывать в чужие окна и подслушивать телефонные разговоры.

Ефим Давидович достойно ответил на эту статью письмом в "Советскую Белоруссию" и секретарю ЦК КПСС Машерову, в котором писал: "... липовая провокационно-клеветническая статья, состряпанная по Вашему указанию черносотенным разбойником пера В. Михайловым, является одной из самых высоких наград, которой ваша организация может удостоить честного человека.

Гнусная клевета в адрес Андрея Сахарова, Александра Солженицына, Александра Лернера и других лучших людей 20-го столетия, подобная той, которой вы почтили и меня, простого человека, вселяет чувство гордости в величие того дела, которому я посвятил свою жизнь.

Можете не сомневаться, что все свои силы отдам служению *еврейскому народу* в борьбе против антисемитизма и неофашизма".

Таков был Ефим Давидович. Горько сознавать, что его нет. Но мы знаем, что он не умер, а убит. Мы знаем его убийц. Мы верим, что придет время возмездия и справедливого суда. Такой суд уже однажды состоялся в Нюрнберге.

Дорогой друг, борец, солдат и гражданин Ефим! Мы склоняем головы перед твоей могилой. Ты честно жил, честно боролся и честно погиб во имя справедливого дела нашего народа.

Вечная память и вечная слава тебе.

## Из писем узника Сиона ХНОХА АРИЕ

20 декабря 1975 г.

г. Владимир

*Шалом, мои дорогие!*

*...Из последних писем мне стало известно о смерти Эфраима Ливне, члена моего кибуца "Кфар-Блюм". Эта весть является для меня очень печальной. Из всех моих корреспондентов Эфраим выделялся во многих отношениях. Он писал мне ежемесячно, и его письма были интересными и очень теплыми. Это были письма от родного человека, и я надеялся, что встречу с ним. Многое я узнал от него, но очень мало знаю о нем самом. В начале этого года я написал ему, просил рассказать о себе, прислать свое фото. Последнее письмо Эфраим написал мне 1 августа. Как и прежде, его письмо явилось для меня зарядом терпения и надежды. Он писал: "Твои друзья приедут уже через несколько дней! Понемногу собираются все, и твоя очередь недалека. Мы ждем и дождемся определенно!" Когда я получил это письмо, его уже не было. Передайте мои искренние соболезнования семье Ливне и всем кибуцникам "Кфар-Блюма."*

*...Обо мне не беспокойтесь, все относительно нормально. И даже срок идет, но что-то очень медленно: осталось ровно четыре с половиной года.*

*В последнее время стало приходиться довольно много писем (письмо и 2 открытки от Эли Ландау, открытка от Шура, письмо № 7 от Шимона Г., № 19 и 21 от Любы, два письма за сентябрь и октябрь от Л. Л. Корнблита, от Р. Дукаревич, Р. Лифшиц, Белый Абир — все трое из Кфар-Блюма, от Волошина — отпр. 14.XI, предыдущее было ровно год назад. Регулярно получаю письма от Иды Нудель).*

*Все мои корреспонденты, упоминающие "Синайское соглашение", относятся к нему негативно. Я уже писал, что не понимаю до конца, чем это вызвано, т. е. некоторые отрицательные последствия я вижу, например, прецедент для второго "развода", потеря удобных стратегических позиций, потеря нефтепромыслов и прочие. Но ведь есть и очевидные преимущества. И главное, наверное, раскол единого фронта, что неизбежно должно впоследствии усилить центробежные тенденции у наших соседей. Улучшились перспективы на мир, по крайней мере, на юге. Снята некоторая напряженность в отношениях со Штатами. Последнее, правда, имеет меньшее значение, т. к. идти у них все время на поводу тоже невозможно. Есть еще один важный фактор — выигрыш времени. Правда, от этого пока проку немного. Время работает на того, кто его использует, чего, отнюдь, нельзя сказать о нынешней правящей коалиции. Прошло восемь лет\* — срок очень значительный, но, к*

---

ЛЕЙБ (АРИЕ) ХНОХ, год рождения 1944, техник-электрик. В 1968 г. подает документы на выезд в Израиль и получает отказ с такой формулировкой: "пока не состаришься — не уедешь". Арие осужден на первом Ленинградском процессе на 10 лет лишения свободы в лагерьях строгого режима.

\*С Шестидневной войны. Прим. П. Хноха.

*сожалению, потерянный почти без пользы (если не считать Голан). А период был, в общем, благоприятный, особенно первые 5–6 лет. А теперь, когда посыпались, как из "рога изобилия", эти резолюции ООНовские – сложнее. Демонстративный жест Герцога мне понравился, но этим ограничиваться нельзя. Лучшим и самым понятным ответом на все последние резолюции было бы решение вопроса с некоторыми территориями страны, и, в первую очередь, с Иудеей и Самарией. Или уж, на крайний случай, для начала предоставить желающим право свободно селиться там.*

*Сообщено, что принято решение о создании 17 новых поселений, из которых 4 на Голанах. А где остальные? В Самарии, как и прежде, ничего?*

*Много пишут о принявшей фантастически большие размеры реэмиграции. Как сообщают, она даже перекрывает иммиграцию. Надеюсь, что мне напишут, как с этим обстоят – прошу сообщить цифровые данные за последние годы. Хотелось бы также узнать о причинах происходящего.*

*Мои дорогие, очень жду ваших писем. Письма Игалика, когда он диктует, лучше записывать в оригинале. Мои поздравления Шимону. Всем родным и друзьям от меня привет.*

*Целую. Ваш Арие.*



29 января 1976 г.

*Шалом, Цви!*

*Давно не писал тебе по причине лимита и крайне редких писем от тебя. Но вот в ноябре и декабре получил от тебя по письму, а в этом месяце целых четыре. Надеюсь, что и в дальнейшем ты мне будешь писать регулярно, пусть и не так часто, как сейчас, но и не так редко, как в последние годы.*

*...В своих последних письмах ты вспоминаешь о том времени, когда мы с тобой познакомились. Давно это было. Нам тогда было по шестнадцать. А сейчас уже идет по тридцать второму. По-разному сложились наши жизни и, особенно, последние шесть лет. Все же хорошо, что в главном мы не разошлись и остались друзьями. Ты дома, у тебя есть даже сабра. Но и я когда-нибудь вернусь, и у меня тоже будут сабрыта, хотя за тобой мне, видимо, не угнаться (у тебя в запасе время), но на это я не в обиде. А пока у меня растет сын, на которого я не могу налюбоваться. Когда приеду, будет меня сын учить ивриту и показывать свою страну...*

*...Раньше я очень верил в досрочное освобождение, но теперь не более, чем в теоретическую вероятность. Для этого нет никаких*

## ПИСЬМА УЗНИКОВ СИОНА

*реальных данных, во всяком случае отсюда я их не вижу. А из дому тоже не получаю для надежды никаких подтверждений. В самом начале срока, а тогда еще очень надеялся, Хана мне написала, что надо надеяться, что не придется сидеть до конца, но если и да, то десять лет тоже когда-нибудь окончатся. Я тогда подумал – ничего себе “обнадежила”, десять лет действительно когда-нибудь кончатся, но ведь и жизнь тоже не вечна. Теперь я отношусь к этому спокойнее, и тридцать шесть лет, которые мне тогда минут, мне уже не представляются столь близкими к старости.*

*...В этом месяце я больше никому писать не смогу, поэтому должен отчитаться перед моими корреспондентами. С последней почтой получил два письма от Сильвы (5 и 14), от Л. Корнблита (12.XII), И. Элиав (22.XII), от Шимона Г. (8). А теперь мои просьбы. Кто из наших поехал в Брюссель? Какие впечатления оставила поездка? Появление поселений в районе Шхема для меня приятная новость. Хочу знать подробней. Есть еще несколько вопросов, которые я задаю регулярно, но они остаются без ответа – это статистические данные по демографии и экономике (из экономических – внешняя торговля, валовый нац. продукт, валовый нац. доход).*

*...Вчера не дописал, хотя пока и писать-то больше особенно не о чем. Главную ценность переписки нашей составляют письма, которые я получаю, а не те, которые посылаю. Здесь одно и то же. Да и о чем я могу писать? А в получаемых письмах я нахожу сведения о своих друзьях, родных, проблемах, которые меня волнуют. Без писем мне было бы несравнимо трудней. Каждая почта – это мой праздник, других практически нет.*

*Передавай от меня привет своей семье, друзьям и знакомым. Всего тебе наилучшего или, как говорят у нас, шалом увраха!*

Арие.

**Письмо АНАТОЛИЯ АЛЬТМАНА — Аврааму Вигдорзону, члену кибуца "Ягур", шефствующему над узником Сиона А. Альтманом.**

17.12.75

*Шалом, дорогой Авраам!*

*Я непростительно долго не писал Вам и Нисану.\* Поверьте, не от нежелания, моей вины здесь нет, но виноватым все же себя чувствую. Я всегда счастлив получать письма из Ягура, такие теплые и сердечные, а мое ответное, вернее безответное, молчание — часто удручает меня самого, но сделать ничего не могу. Мой лимит на письма еще больше уменьшился.\*\* Итак, за последнее время значительно улучшилось положение с доставкой почты\*\*\* — явление это стало регулярным — в 2 недели раз приходит из Москвы пакет с несколькими письмами, а сколько не приходит — оставим на совести "нерадивых почтовиков".*

*Получил письма от Рут Александрович, Льва Ягмана, Лили, моего друга Авраама из Рамат-Гана и, наконец, письмо от Нисана о делах кибуцных с прекрасными иллюстрациями. Ваши два такие большие и "вкусные" письма читал и перечитывал; именно их я имел в виду, когда писал о сознании своей вины, а вернее сказать, несостоятельности. Авраам, я не умею писать и говорить льстивые слова и приятные вещи. Одно лишь, как бы это выразить? Когда я читаю мемуары и письма великих Т. Манна, Толстого, Швейцера, то у меня появляется чувство, что я никогда не dorасту до такой зрелости, могучей и проникновенной, и дело здесь не в теме, взятой каждым из них, а в способности проникнуть в суть явления, одухотворением даже самого тривиального, красоте мысли и простоте изложения. Как вы понимаете, ценность заключается не в литературном плане, а в том, что называется передачей поколениями культуры, приобретенной и выработанной. В Ваших письмах я нахожу многое из пересказанного здесь, в самых "бытовых" описаниях жизни кибуца, Ваших знакомых, праздников и т. д. Нужно прожить большую жизнь, дисциплинировать дух и разум, чтобы найти такие оценки. Мне здесь, лишенному возможности жить общественной жизнью, остается расти, имея целью то, что я нахожу в Ваших письмах,*

---

\* Нисан Гошански, член кибуца "Ягур", преданнейший друг Толи в рамках шефства, но по своей личной активности далеко выходящий из общепринятых рамок такой деятельности. Примечания П. Хноха.

\*\* Вероятно, Анатолий наказан — ПКТ?

\*\*\* Безусловно, положительный результат шума как внутри лагеря, так и за границей.

АНАТОЛИЙ АЛЬТМАН, год рождения 1942, инженер. Был осужден на первом Ленинградском процессе на 10 лет лишения свободы.

*искать ценности в ситуациях, окружающих Вас, что, поверьте, с моим, весьма неустойчивым, характером очень не просто. Ведь я здесь – в этом монастыре духа – нахожусь вопреки сознательному желанию и, как знать, не случись это, стало ли бы это для меня ценностью... Хотя, отвлекаясь несколько от темы, хочу поделиться мыслью о том, что человек сам творит свой мир и зачастую это происходит за пределами его воли и, даже, сознания. Здесь нет противоречия, так как величинами, составляющими нас, является также и провидение, которое индивидуально, сообразно с личностью, помещает нас в ситуации, наиболее способствующие раскрытию замысла нашего создания.*

*Меня очень позабавила в Вашем письме сценка объяснения на иврит с малолетней дамой, преподавшей Вам уроки языка, и обращения к дамам. Тем более, что проблема в настоящее время предстала и передо мной. А дело в том, что меня перевели на должность швей-мотористки, и я решил нерастратившую часть энергии употребить на изучение иврита по вечерам. Значит так, энтузиазм и успех образно можно показать на примере катящегося снежного кома. Впечатляет? Так, а теперь прокрутите ленту наоборот, – это и будет наиболее верный образ моего состояния. То есть нет, не совсем, но в частности. Я уже могу заявить: "Я учу иврит" – даже добавить: "Сегодня", но здесь будет больше нахальной лжи, чем всего остального. Ох, одна надежда, что на мой век хватит маленьких девочек и мальчиков, чтоб на пальцах объяснить лысому дяде, кто есть кто. Может, даже весь тираж 74 года, чьи рожицы я получил в письме и будут моим "уличным хедером". А вообще, с этой публичкой намного интереснее бывает, чем с друзьями, наставляющими тебя на предмет смысла жизни.*

*Сегодня я получил письмо от Иды Нудель из Москвы. Она все время печется обо мне, шлет объемные открытки и миниписьма, содержанием которых в большинстве случаев бывает покаяние за предыдущее молчание и обещание исправиться. А по-серьезному, она очень много делает для меня, для нас. Вот, намерилась прислать лекарство от язвы и как истинный подвижник-лекарь сообщает, что оно замечательное, на себе опробовала (может, сперва на кошке?! Это на предмет содержания витальности в кошке и в ней. Я-то не могу похвастаться, что мне все нипочем. Но это шутка, поверьте, все "о'кей").*

*Зарядку я, правда, бросил, – очень рано вставать, водой не обливаюсь и утешаюсь, что когда приеду, прогулка на Кармель, уже заказанная, поможет войти в форму. Только когда уже? Знаете, я думаю, что я сейчас отсиживаю за все свое прошлое бродяжничество. Наступало время, когда я уже физически не мог оставаться на месте, и меня несло. Я так говорю, поскольку это было, как говорится, сильнее меня. И вот, когда я узнаю, что есть люди, проработавшие на одном месте 6 лет, да еще без отпуска, я снимаю шляпу. Авраам, все прекрасно, но ведь очевидно, что Ваша работа на износ, а это ну, по крайней мере, не*



*рентабельно, не говоря обо всем остальном. Тем более, по фото я уже имею представление об условиях. Это отнюдь не поливание фикуса и, хотя тема о возрасте стала у нас запретной, все же не нужно делать то или так, чтобы выглядеть более "взрослым".*



22.12.75

*Ну вот, пришла почта, правда, из старых отправок: от Юдит Юнгер и Мари Бен-Шошан (ул. Декар 4/2, Ашдод). Но увы, комментариев не будет. Письма написаны великолепным ивритом, без "никуда" и являются для меня, даже будучи распечатанными раньше, чем я их получил, теми самыми "тайнами за семью печатями". Хотя основное, на мой взгляд, я все же понял — одной из них 16 лет, и поздравляет меня с Ханукой. И это прекрасно, и то, что всего 16, и то, что Ханука, и то, что поздравляет. Правда, я чуть позже понял, что не с Ханукой, но не важно — все остальное в силе. Все же я еще подожду, авось, до конца недели будет еще письма. Ну вот, еще одно от Рут Офер (Апозлет 11, Ноф Ям, Герцилия). По ее письмам я учу иврит — у нее как будто специально для малограмотных — великолепные прописи. Ее пожелание к празднику Освобождения полно тепла и света — благодаря и изображенным на открытке ханукальным свечам и словам, в полной мере соответствующим содержанию праздника. Авраам, я очень буду Вам обязан, если они получат от меня мой "Шалом!" и благодарность за поздравления. На этом закончу. Если долго не будет от меня писем, не беспокойтесь, все "о'кей", уверяю Вас. Огромный привет Нисану и семье, всем ягурам, друзьям и родным. Обнимаю! Ваш Анатолий.*

*P.S. И, наконец, еще два письма. Одно из США, Dwings Hills, Md 2117-40, Bitterroot et Linda MATHEUS. Письмо на английском, но — удивление — текст написан доступно, и я сам все понял. Она меня поздравляет с Ханукой, пишет о себе и просит сообщить о себе. Второе из Англии — А.Е. Yakobs, 11 Essex Avenue, Didsbury, Manchester 20. Его письмо мне меньше поддалось. Ну, он и его семья шлют мне поздравления к Хануке, а мой адрес они узнали у моего знакомого из Бней-Брака, а дальше не смог почерк разобрать. Если будет хоть какая-нибудь возможность им ответить, то, пожалуйста.*

22 декабря 1975 г.  
(Получено 27.2.76)

Адрес Альтмана:  
Москва, Учр. 5110/1—ВС  
СССР.

## ИЛЬЯ ВОЙТОВЕЦКИЙ

После восьмичасового пути по пустыне мы, наконец, прибыли на базу. Говорят, что дорога необыкновенно красивая; но мы выехали из Беэр-Шевы уже после полудня, а в этих местах темнеет быстро. Из окна автобуса можно было лишь различить, что асфальт извивается между горами, то подходящими к самой обочине, то отбегающими от нее. Иногда из-за поворота выдвигалось море — сплошная масса ровного, застывшего в лунном свете поблескивающего металла.

Утром мы осмотрели базу. Она располагалась на самой южной точке полуострова, на оконечности мыса, острым языком выходящего в море. У наших ног спокойно покачивались воды Индийского океана. Из воды поднимался большой горбатый каменный утюг, загораживая полгоризонта и оставляя открытой вторую его половину. Из-за утюга, на несколько секунд замешкавшись над его вершиной, выплывало утреннее солнце.

Мы были резервисты, уже не очень молодые и, по мнению командования, годные только для несения караульной службы. Из сугубо штатских людей мы на месяц превратились в солдат Армии Обороны Израиля. Среди пятнадцати человек было несколько "румын", "американец", "индус", двое "русских", "марокканцы", один "француз".

Не мудрствуя лукаво, сержант объединил меня с Сеней в "русскую", как он выразился, группу, показал нам место, где мы должны будем еженощно, с шести вечера до пяти утра, наблюдать за морем, сушей и небом, перечислил инвентарь: пулемет, телефон, ящик с пулеметными лентами и ящик с гранатами — и пожелал нам приятной службы.

Сеня приехал из большого города в центре России два года тому назад, перед самой войной Судного дня. Попытался попасть на фронт, но безуспешно. Работал на почте, в мошаве, по ночам стоял у дороги и раздавал солдатам бутерброды и кофе, которые готовили женщины в центре абсорбции.

Город, из которого он приехал, оказался для Израиля малоурожайным: два—три десятка семей — не больше. Сеня был знаком со всеми земляками, со многими был в дружбе.

По ночам, провожая взглядом огни редких кораблей и частых самолетов, Сеня рассказывал мне о своих друзьях. Это были веселые, интересные, верные люди.

Я их уже знал хорошо, как своих добрых старых знакомых. Казалось: встретить я их на улице — подошел бы и заговорил.

Меня интересовало, как они, люди непожилые, а многие — просто молодые, оторванные в своем индустриальном городе от еврейской жизни, выросшие в ассимилированных семьях, вдруг нашли друг друга, объединились и пробили, казалось, непробиваемую стену.

**Илья Войтовецкий**, оле из Свердловска, живет в Беэр-Шеве. Работает на израильской железной дороге. В стране с 1971 г.

Было по-разному. У каждого оказался свой путь: и похожий, и непохожий на другие. Я с детства знал, что для меня есть одно место на земле — вот здесь. Годами не думал об этом, но это жило во мне. Другие приходили к пониманию после поисков, ошибок, зуботычин. Случалось иногда, что человек “созревал” за несколько часов. Конечно, почва для этого была уже готова заранее, но он не подозревал об этом. Ну, и ... словом — пути Господни неисповедимы.

Этой ночью я познакомился еще с одной его землячкой.

## ТЕЗКА БРИТАНСКОЙ КОРОЛЕВЫ

### Рассказ

Отца Виктория никогда не видела: в тридцать седьмом, за несколько недель до ее рождения, его увели ночью из дома, и с тех пор никто о нем ничего не слышал. От матери она знала, что отец происходил из Англии, был композитором. В середине тридцатых годов, поймав по радио бодрые песни братьев Покрасс и вдохновившись их призывными ритмами, отец, в поисках социальной справедливости и всеобщего братства, приехал на родину пролетарской революции, здесь встретился с мамой, и ожидаемый ими ребенок должен был стать первой жизнеутверждающей симфонией новообращенного в большевистскую веру меломана.

По всем планам и расчетам надлежало родиться мальчику, и имя ему было уже заготовлено: Вилен — в память о мудром и бессмертном В. И. Ленине. Но прогнозы не оправдались, и новорожденную сиротку рыдающая мама нарекла в честь вели-

кой королевы туманной папиной родины: Викторией.

Мама умерла от сердечного приступа, оставив дочери в наследство двенадцатиметровую комнатку с сильно чадящей печкой, водоразборной колонкой в двух кварталах от дома и уборной на заднем дворе. Да еще — завернутую в газету стопку облигаций всех добровольных государственных займов.

Виктория, учившаяся в то время в девятом классе, переехала к тетке — маминой сестре. Путем какого-то сложного, с доплатами, обмена родственницы объединили свои разрозненные комнаты в уютную двухкомнатную квартиру. После этого тетка помогла Виктории устроиться на завод, выхлопотав там для нее место в общежитии.

О том, что время движется, можно было судить по окружающим. Люди рождались и умирали, женились и разводились, делали карьеру и уходили на пенсию. И только в жизни Виктории

не наблюдалось решительно никаких перемен. Маленькая, тощенькая, с узкими плечиками и бедрами, с еле намечавшейся грудкой, она и одеждой подчеркивала невзрачность своей внешности. Платья и пальто доходили ей до щиколоток, наполовину закрывая черные резиновые ботики, а редкие волосики сбегались на затылке в худосочный мышинный хвостик.

Научившись кое-как водить рейсфедером по кальке, она с трудом справлялась с работой копировщицы, так как и без того слабое зрение с годами ухудшалось, и ей приходилось подолгу задерживаться в конструкторском бюро после работы, чтобы выполнять дневные задания.

В общежитии сопливые девчонки не желали не только величать ее по отчеству, но и имя-то ее ленились выговаривать полностью. Поэтому закрепилось за ней на долгие годы не то прозвище, не то кличка: Витюля.

Подруг у нее не было. Все интересы общежитских девчонок вертелись вокруг танцулек, несерьезных кинокомедий и свиданий. Девчонки влюблялись, бежали на мужской этаж или приводили парней к себе. Иногда парни оставались ночевать, пригравшись под бочком у какой-нибудь из Витюлиных соседок. Виктория в таких случаях ложилась в постель, не раздеваясь, укрывалась одеялом с головой и отворачивалась к стенке. Но заснуть она не могла и всю ночь

брезгливо слушала страстные поцелуи и стоны вперемешку с сопеньем и скрипом кровати, мужской пьяный храп и бессвязное бормотание любовников. После таких ночей она начинала презирать весь свет, а мужчин вообще старалась не замечать.

Где-то в глубине души Виктория грезил о чистой и светлой, как в книжках и песнях, любви, но никому в мире, даже себе самой, не признавалась в этом. Ее промерзшее сердце мог растопить только сказочный принц. Но всех отечественных самодержцев и их отпрысков советская власть истребила на корню еще в девятьсот семнадцатом, а на иноземных монархов рассчитывать было трудно.

Годы шли. Уже двадцатилетний рубеж остался далеко-далеко позади. Промелькнуло и двадцатипятилетие, и тридцатилетие, уже подкрадывались тридцать пять. Нерасцветшая и стареющая, Виктория терпеливо и безропотно ждала своего принца.

Олечка была лет на пятнадцать моложе Виктории, но бойкостью своей и неугомонностью подавляла ее постоянно. Будучи не в силах выдержать долгий взгляд Олечкиных широко раскрытых и как бы вечно удивленных пуговок-глаз, Виктория в ее присутствии вмиг уходила в себя, как черепаха в панцирь, сооружая между собой и своей соседкой невидимую, но непреодолимую стену. Олечка эту преграду не умела замечать, и в то время, как Виктория сидела на

общежитской койке, демонстративно погрузившись в свои думы, Олечка не прекращала щебетать, сообщать какие-то новости, передавать сплетни, просить, не ожидая ответа, совет.

— Витюля, представляешь, Петька предлагает пойти с ним в ЗАГС, а Юрик хочет жить просто так. Ты бы как поступила на моем месте? Петька меня, конечно, любит, и он серьезный. Но ты бы видела, как Юрик танцует! И вообще он симпатичнее. Слушай, а чего ты вечно сидишь дома да в свою тетрадку галиматьевые стишки из книжек переписываешь? Хочешь, я тебе Юрика уступлю на одну ночь? А то ведь так жизнь проживешь и мужика живого не попробуешь. Помрешь — и вспомнить нечего будет, только “любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне”. Или побрезгуешь нашим-то, русским? Тебе, небось, еврейчика подавай, да чтоб инженер был. Ваши-то — евреи — все инженера. Выучили их на свою голову, а теперь они в Израиль бегут. И чего там не видели — в Израиле-то? Юрик говорит — там безработица и война все время. Сами-то, небось, на фронт боятся идти, так арабов вместо себя посылают. У нас вон мастер в цеху был, человек как человек, непьющий, обходительный. Не матерился даже. И заработок был хороший, и на доске почета висел. Так нет ведь — в Израиль потянуло! На родине, говорит, жить хочу. Ему теперь такую родину покажут — ни тут, ни там

жизни не будет. С работы его выперли по требованию коллектива: за грубое отношение к рабочим. Так он отрастил бородищу и на толкучке последнее исподнее распродает. Витюля, а Витюля, чего тебе тоже в Израиль не податься? Кругом все свои, все инженера да врачи, все по-вашему лопочут. Замуж выйдешь, еврейчиков нарожаешь. Будешь жить в свое удовольствие.

Долго еще тараторила Олечка — бездумно, беззлобно, походя, занимаясь в то же время своими мелкими девчачьими делами: чистила и подпиливала ногти, пришивала пуговицу, накручивала волосы на клочки газеты, вертелась перед зеркалом.

Виктория бесстрастно глядела в окно, за которым серые прохожие с трудом месили небурный талый снег, перемешанный с грязью. Из-под колес громыхавших грузовиков вылетали комья сырой, тяжелой и липкой глины и норовили обдать лениво сторонившихся пешеходов. Грязь достигала цели, и люди, видя бессмысленность своих попыток уклониться от этого всеохватывающего гряземетания, продолжали свой путь, не стряхивая с себя налипавшее месиво.

Научившись не слушать и не слышать окружающих, Виктория и теперь почти не вникала в смысл соседкиной болтовни, и Олечкины вопросы, не претендовавшие, впрочем, на ответную реакцию, скользили где-то по

поверхности слуха, не доходя до сознания. И все же, под влиянием стороной проходящих разглаговльствований, мысли Виктории стали стекаться в определенное русло, и она бессознательно погрузилась в воспоминания, воспринимаемые ею скорее чувствами, чем мыслями.

От мамы, от тети, от знакомых Виктория знала, что она еврейка. Она относилась к этому, как к цвету волос, как к веснушкам на носу или как к своему слабому зрению. Не пользуясь ни помадой, ни кремами, ни другой косметикой, она никогда не пыталась что-либо в себе изменить. Она не скрывала и не подчеркивала ни своей национальности, ни близорукости, хотя окружающим и то, и другое сразу бросалось в глаза.

Только однажды Виктория болезненно почувствовала, осознала свою инородность массе существующих рядом с ней людей, когда соседи по коридору ни с того, ни с сего ворвались в их сизую от дыма растапливаемой печки комнатушку и наперебой стали кричать на маму, вспоминая врачей-убийц, и какой-то Джойнт, и распятого Христа, и отравленного Горького. И обвиняли маму в том, что она не захотела пойти замуж за кладовщика Храпченко, а до сих пор ждет своего врага народа. И требовали, чтобы мама с Викторией убралась из квартиры, потому что все соседи теснятся и мучаются, в то время как паршивые евреи занимают хоромы.

Виктория молча смотрела на маму, а мама стояла с растерянно открытым ртом и часто-часто моргавшими глазами — перед орущими людьми, бок о бок с которыми, без ссор и скандалов, прожила два нелегких десятилетия. Потом, когда они, наконец, разошлись по своим клетушкам, продолжая еще оттуда кричать, угрожать и требовать, мама подогнула сильно дрожавшие ноги; как-то вдруг потеряв опору, уронила тело на табурет и стала, словно в темноте, шарить руками по столу, ища стакан с водой. Виктория, очнувшись, рванулась в кухню, зачерпнула из ведра полный ковш холодной, подернутой пленкой наледи, воды и бросилась обратно. Когда она вбежала в комнату, пить было уже никому...

И тогда же, в январе или феврале пятьдесят третьего, когда Виктория уже очень редко бывала в школе, их вечный отличник Слава Никитин, ко всеобщему удивлению, сообщил классной руководительнице, что при получении паспорта он записался Кауфманом — в память о погибшем на фронте отце. И хотя он очень уважает свою маму, Екатерину Фоминичну Никитину, все же хочет, чтобы в документах были записаны фамилия и национальность отца.

Славу Никитина Виктория встретила на улице в июне шестьдесят седьмого. Он шел, казалось, не касаясь ногами земли, легко и в то же время твердо и пружинисто. Ее он сразу заметил,

узнал и сходу, не здороваясь, обхватил ручищами за плечики.

— Вика! Ну, что ты скажешь, а! Как дела, а! Ведь подумать только!

И еще много восклицательных знаков обрушилось из этой бездонной глотки на Викторину; а она, отнеся Славину восторги к недавнему успеху футбольной команды, о чем все последнее время только и судачили болельщики и неболельщики, растерянно смотрела на высокого стройного бывшего своего одноклассника, возмужавшего за прошедшие, без малого, полтора десятка лет, но сохранившего тот же прямой взгляд широко открытых глаз, в самой глубине которых тепло светилась добрая улыбка.

Удивленный и озадаченный отсутствием какой-либо реакции, Слава передохнул и начал более вразумительно втолковывать ей причину своего возбуждения.

— Какие, к черту, футболисты! Ты радио, ну — хотя бы советское, слушаешь? Ну, ты подсчитай, сколько наших самолетов они уничтожили. Он вытащил из кармана лист бумаги, расправил его и начал тыкать пальцем в строчки и колонки какой-то таблицы. — Ну, сколько у нас, думаешь, могло быть самолетов? Вот, смотри: это — на юге, это — на севере, а это — у Иордана. Теперь считай. Вот это сбито в первый день, это — во второй, это... — он продолжал указывать на какие-то числа в

таблице. — Теперь сложи. Теперь вычти из общего количества. Сколько осталось на сегодняшний день? Шиш на постном масле! Окончательная величина. Так? А сегодня — Синай наш, Голаны наши, Иерусалим — наш! Разбитая армия агрессоров одержала блистательную победу! Наша армия — понимаешь, Вика!

— Чья это — ваша? — все еще не проникаясь тем же безудержным восторгом, спросила Виктория — не из интереса, а чтобы что-то спросить: неудобно было стоять бесчувственным столбом перед напором неубываемых эмоций собеседника.

— Да не ваша, а наша, израильская. Твоя и моя.

И вдруг, натолкнувшись взглядом на толстые безответные стекла очков, умолк; спрятал таблицу в карман, вежливо расспросил ее о житье-бытье, рассказал что-то веселое о своих сорванцах и попрощался. Виктория смотрела ему вслед, как он шел, будто не касаясь земли, и в то же время уверенно и пружинисто, все удаляясь и удаляясь от нее. И когда он уже совсем скрылся из виду, она свернула в переулок, в котором находилось ее общежитие.

Виктория не спеша вошла в подъезд, украшенный двумя лозунгами: старым, выцветшим, серым от времени, на котором серыми же пропыленными, почти неразличимыми буквами значилось: "Вперед, к победе коммунизма!", и свежим, продолговатым, яркокрасным, как крово-

точащая ножевая рана, вспыхнувшая на живом теле: "Братский первомайский привет братским арабским народам!".

В полутемном общежитском коридоре полным голосом гремело радио:

"Кипучая, могучая,  
Никем непобедимая  
Страна моя, Москва моя —  
Ты самая любимая!"

Это очень заслуженный, а может быть даже народный артист Владимир Бунчиков исполнял патриотические песни народных и, конечно же, очень заслуженных братьев Покрасс.

— ...Водку принесут мальчики, а закуска, помещение и постельные принадлежности — это уж наше, — продолжала тараторить Олечка, не обращая внимания на задумчивость и отрешенность своей молчаливой соседки. — Соберем по трешнице, купим хлеба, колбасы, килька тоже под водочку хорошо пойдет. Юрик принесет долгоиграющие пластинки. Так как, Витюля, примыкаешь? Или опять у тебя воскресный обед у герцога Трафальхерского? — цитировала она явно чужие остроты. — Если согласна — гони валюту, если нет — освобождай жизненное пространство.

— Я давно собиралась провести воскресенье у тети, — тихо ответила очнувшаяся Виктория. — Я уйду завтра рано утром. — И снова спряталась в свой панцирь.

Воскресный день начинался пасмурно, зябко и сыро. Тумана не было, но улица выглядела

мутно, как на плохо проявленной фотографии. Накануне растаявший и перемешанный с грязью снег схватился ночным морозом и серел бесформенными окаменелостями на обочинах. Машин и прохожих было еще мало, но на трамвайной остановке толпились спешившие на воскресную толкучку. С грохотом подкатывал старый деревянный двухвагонный трамвай и, не дожидаясь полной его остановки, к нему устремлялась толпа закоченевших от ожидания людей, отталкивающих один другого узлами, чемоданами, корзинами или просто локтями. Они врезались в уже переполненное пространство, бежали за удалявшимися вагонами, цепко держа в руках и под мышками свой бесценный, нажитый годами и теперь предназначенный для продажи, скарб.

Виктории было безразлично, в каком направлении двигаться: к тете ехать было еще рано, а знакомых у нее не было. Поэтому, постояв на тротуаре напротив остановки и осознав бессмысленность, да и бесцельность своего участия в борьбе за место в трамвае, она побрела пешком к конечной остановке. Расчет ее оказался верным: несмотря на огромное скопление там пассажиров, все они вместились на сиденья, проходы и тамбуры пустых вагонов, растолкав между ногами мешающие передвижению пожитки. Викторию, сжатую со всех сторон так, что она вынуждена была отдать себя во



власть напиравшей толпе, вдавили в трамвай, оттеснили к заднему окну тамбура и так прижали боком к железному поручню, что она на миг от боли чуть не потеряла сознание. Однако в пути пассажиры как-то поутряслись, утрамбовались, разместились, и на следующих остановках втискивалось никак не меньшее количество энергичного напористого люда.

Человеческая масса, превратившаяся в физический и идейный монолит, скрепленный общностью территории, цели и условий ее достижения, переругивалась, негромко скандалила, дружно охала на стыках рельсов и так, грохоча и потея, медленно и верно двигалась к окончанию своего многострадального пути.

При приближении трамвая к теткиной остановке Виктория сделала попытку пробраться к двери, но все ее энергичные движения и жалобные обращения: "Вы не выходите?", "Разрешите пройти", — остались попросту незамеченными. Масса стремилась на толкучку, и отличная от этого цель была ей чужда и непонятна. У Виктории не оставалось выхода: она была вынуждена вместе с большинством продолжать движение к общей цели. Всякая попытка изменить свое положение, переместиться, устроиться поудобнее приводила к усилению давки и толчков, поэтому она умолкла и примирилась со своей участью.

Толкучка встретила ее гулом медленно и беспорядочно пере-

мешивающейся толпы. Люди сосредоточенно размазывали ногами чавкающее и брызгающееся грязное месиво, на котором по разным подстилкам, клеенкам и размокшим газетам располагались предметы купли-продажи. Раскрашенные глиняные собаки и кошки-копилки, велосипедные колеса, старые школьные учебники и растоптанные калоши, залатанные сапоги и облысевшие зубные щетки, дверные замки и бельевые прищепки, бигуди и конская сбруя, запонки, костыли, протезы, солдатские и офицерские погоны, краденые радиодетали со знаком военной приемки, зеркала, коврики с озерами, дворцами и лебедями, кофты и юбки, плащи и платья, бюстгальтеры и мыло — чего тут только не было! Вокруг каждого продавца кружил водоворот покупателей, они приценились, торговались, уходили и снова возвращались. Вещи переходили из одних рук в другие, ныряли в кошелки и сумки, уплывали, закручивались в водоворотах. Растаявшая жижа вылетала из-под подошв, обдавала обувь, попадала на подолы и штанины, на руки и вещи; все было заляпано и забрызгано обильными ошметками мартовской грязи.

Бесцельно двигаясь в этой бурлящей толпе, Виктория засмотрелась на группу людей, весь вид которых говорил, что они здесь — явление инородное, даже экзотическое. И хотя одеты они были под стать другим и торговали барахлом ничем не

примечательным, но было в них что-то, неуловимо выделявшее их из общей базарной публики.

Невысокий, коренастый бородач стоял около двух открытых чемоданов и угрюмо молчал. В одном чемодане были навалены поношенные мужские нейлоновые сорочки и дамские кофточки, детские ползунки и еще бог знает какое тряпье. В другом лежали старые зажигалки и игрушки, стеклянные бусы и безделушки из стекла и керамики. К груди бородача и крышкам чемоданов были прикреплены сообщения: "Не торгуюсь. Каждая вещь — 1 рубль". К чемоданам подходили, рылись, выбирали, прикидывали размер, иногда покупали.

Рыжая женщина переступала с ноги на ногу около забора, на котором одиноко висело поношенное, в елочку, распятое на плечиках, мужское пальто. К ней почти никто не подходил, и она, засунув руки в карманы, безучастно озиралась по сторонам.

Возле высокой картонной коробки весело балагурил раскрасневшийся от возбуждения продавец в очках, сквозь которые поблескивали любопытные, со сверлящим вопросом, глаза:

— Граждане покупатели! Не упускайте вашего последнего счастья! Весенняя распродажа! Здесь вы найдете все для дедки, для бабки, для внучки и для Жучки, для Красной Шапочки и для Серого Волка! В человеке все должно быть прекрасно! Бери, бабка, бери! Что? У тебя не

внучка, а внук? Ничего, будет еще и внучка! Не останавливайся на достигнутом! Нам нет преград ни в море, ни на суше! Примеряй, красавица, не стесняйся! Во всех ты, душенька, нарядах хороша!

Он извлекал из своей коробки самые замысловатые одежды, вручал их, не умолкая, покупателям, запиховал деньги во внутренний карман пальто и продолжал зазывать:

— Без одежды протянете ножки! А это — темно-вишневая шаль! — сообщил он, вытаскивая неопределенного цвета плед с выцветшими от времени клетками. "Эх, полным-полна корбушка, есть и ситец, и парча!" — зафальшивил он пронзительным голосом. "Знает только ночь глубокая, как поладили они!" — и подмигнул зазевавшейся на это невиданное чудо девушке; та прыснула и, вспыхнув, отвернулась.

Из-за забора вынырнул молодой человек с редкой вьющейся льняной бородкой и наглыми голубыми глазами.

— Шалом, господа! Как выполняются наши планы? — обратился он сразу ко всей живописной группе. — Я смотрю, у рыжей Пенелопы товар усыхает, но не убывает.

Он сорвал с забора пальто, встряхнул его, повертел в разные стороны, как бы демонстрируя, и провозгласив: "Реклама — двигатель торговли!" — стал декламировать громким речитативом:

— Пальто с плеча Янкелевича! Пальто с плеча Янкелевича!

Он тут же натянул пальто на подставившего широкие плечи сухого старика, одернул снизу, запахнул, застегнул, крутанул покупателя в разные стороны, и хотя пальто было явно и узко и коротко, уверенно закричал в самое стариковское ухо:

— Как по заказу! Бери, дед! Только из уважения к твоим сединам отдаю за пятнадцать рэ. Что? Много? Ну, гони десятку — и пальто твое! Что, опять много? Дед, ты грабишь эту одинокую женщину! Пятерку?.. — переспросил он старика и вопросительно посмотрел на Пенелопу. Та нетерпеливо закивала. Лыняной хлопнул покупателя по спине. — Будь здоров, дед, носи долгие годы! Молись за разрядку международной напряженности!

— Спасибо, сынок, — дохнул перегаром старик, отсчитывая пятерку рублевками и полтинниками. — Ты мне скажи только правду, отчего он помер-то, царство ему небесное...

— Кто, Янкелевич? Что ты, дед, он жив и здоров. Он, конечно, уже переселился в гораздо лучший мир, но исключительно в соответствии с предписанием ОВИРа. Да тебе этого не понять, дед. Рожденный ползать — летать не может!

До Виктории начинал с трудом доходить смысл происходящего. Она смотрела во все глаза на веселящихся субъектов и с

удивлением осознала, что присутствует при пире во время чумы. Этих непохожих друг на друга людей объединяла какая-то залихватская безысходность, а сквозь показное бодрячество Виктория вдруг всем существом своим ощутила их нужду, потребность в этих рублевках и пятерках, жизненную необходимость, казалось, интеллигентных людей в ликвидации, сбыте всего этого барахла с плеча какого-то Янкелевича.

Еще два дня назад она прошла бы мимо, не почувствовав никакой связи этих людей с собой; взглянула бы, как на чужих, впавших в запоздалое детство взрослых лоботрясов. А сегодня ее что-то остановило, привлекло к ним, заставило всмотреться, прислушаться, попытаться понять происходящее.

Но... нет, это было не вдруг, это ей только могло так показаться.

Всякий плод, созревая, незаметно наливается соком, тяжелеет. Наступает момент, когда достаточно самого малейшего дуновения ветерка или вскрика птицы, или дождевой капли, чтобы плод потерял связь с — казалось бы — прочно удерживающей его плодоножкой и как будто вдруг рухнул вниз. И уже неважно, с какой стороны дохнет ветер или какую песню запоет птица. Плод созрел и должен упасть. А ветерок, пусть самый слабенький, но — дунет, а птица, пусть самая молчаливая, но — вскрикнет, а капля, пусть самая одино-

кая, но — капнет.

Однако до созревания было еще очень далеко. Так далеко, что невозможно было, наверное, сказать, наступит ли оно. Да и плода-то еще не было. Появился только цветочек, о котором говорят, что ягодка будет впереди.

Пока Виктория вглядывалась в молчаливого бородача, изо всех сил пытаюсь вспомнить, где она его видела, к группе подошел пружинистой походкой еще один мужчина и с улыбкой сообщил:

— И за что мне такое счастье! Сегодня я одним махом обеспечил семье безбедное существование на сто лет вперед!

— Что ты, Гилель, неужели ты намерен дарить этой земле счастье своего пребывания еще на сто лет? — затараторил Льяной. — Господа! Этот тип разбогател и сразу расстался с мечтой навесить свою любимую рамаггановскую тетю, приславшую ему вызов и обязательство содержать его на своих милитаристских харчах! Что тебе удалось продать: дачу в Швейцарии, ролсройс в Кейптауне или яхту на Адриатике?

— Я продал, уважаемый, шкаф за сорок пять рублей! — радостно пропел Гилель, в котором потрясенная Виктория с удивлением узнала Славу Никитина, своего необыкновенного однокашника. И эта встреча вдруг так ее обрадовала, как будто его-то она здесь и искала, и только его ей сейчас доставало.

— Слава... — выдохнула Виктория и подалась ему навстречу всем своим тщедушным детским тельцем, выкарабкиваясь из снующей и толкающей ее толпы. — Слава, здравствуй...

— Вика? — в свою очередь удивился Слава. — Что ты тут делаешь? В каком качестве ты здесь выступаешь?

— То есть? — не поняла Виктория.

— О! Это место привлекает великих артистов с самыми различными амплуа. Одни подвизаются здесь в роли профессиональных и многоопытных товарищей, как эти господа, — обвел он рукой своих приятелей. — Другие стремятся сюда по причине фантастически низких цен. Ведь мои собратья спешат расстаться со всем, что связывает их с прежней жизнью на этой благодатной земле. "Не торгуюсь — отдаю даром!" — пошутил он в сторону бородача. — А вот еще одна высокооплачиваемая роль, — он демонстративно громко сказал эту фразу, указав на недалеко стоящую тройку поразительно одинаковых мужчин, глядевших в их сторону. — Это наши постоянные ангелы-хранители. Они отвечают за наши тела и души, за наши благополучие и благонадежность. Граждане, — обратился вдруг Слава к ангелам-хранителям, — нельзя ли разжиться у вас сигаретой?

Ангелы, как по команде, стали хлопать себя по карманам, а один вытащил и протянул полную пачку. Слава подошел, из-

влек одну сигарету, затем взял еще две.

— Ребята, угощайтесь, — предложил он друзьям, прикуривая от протянутой ему зажженной спички и, поблагодарив, вернулся к Виктории. — Эти трое, в общем, неплохие граждане и исполнительные труженики метлы. Сегодня они вышли, чтобы строить и мечь в сплошной лихорадке, — продолжал он так, чтобы его было слышно. — Но они — невольники чести. Дабы не разориться на сигаретах, они вынуждены таскать с собой всегда две пачки: дорогие — для себя, и дешевые — для нашей общины. Но мы не в претензии: курево нам самим на данном историческом этапе не по карману. Вот так они и дежурят около нас по двое, а третий — сменный. Сейчас видишь — у них пересменка. Все трое на боевом посту.

Все трое смущенно засопели, отвернулись и сделали вид, что рассматривают что-то в противоположном конце рынка.

— Мы — не подпольная организация, — говорил Слава, с наслаждением разжевывая хрустящие ломтики жареной картошки и запивая горячим и ароматным чаем, от которого поднимался пар. — Мы — случайные знакомые, которых связывает общая цель — выезд в Израиль. При других обстоятельствах мы друг с другом, может, и не поздоровались бы. И в Израиле совсем необязательно, чтобы мы были вместе. Встретимся: "Как дела?"

— и дальше, бегом по своим делам. Но сегодня наше спасение в дружбе и доверии. Ты бы знала, как они надеялись нас рассорить! Распускают сплетни, слухи, одному наговаривают на другого. Дешевка! — усмехнулся он, встал, встряхнул чайник, долил его и поставил на газовую плиту. — Ты ешь, не стесняйся. У нас принято: мое — мое и твое — мое. Все не работаем, друг у друга кормимся — так и живем. А иначе — все бы с голоду померли.

Кухонька была крохотная, без стола, и если двое сидели, то третьему войти было уже некуда. Поэтому Слава, прикрыв дверь, сам хозяйничал, рыскал по кастрюлям, выискивая съестное, в то время как его жена Соня воевала с двумя постоянно дерущимися погодками. Соня была беременна, и Слава, знакомя с ней Викторию, подмигнул: "Выполняем национальный долг".

Виктория, сторонясь вместе с табуреткой то влево, то вправо, чтобы не мешать хозяину передвигаться по кухне, держала в руке вилку с давно насаженной на нее картофелиной и внимательно слушала.

— Но ведь вас всех могут арестовать, — робко вставила она не давшую ей покоя мысль.

— Конечно, могут. И арестовать, и убить. И совсем необязательно, чтобы мы хотели уехать в Израиль. Они нас сажали и убивали, когда мы были не только самыми лояльными гражда-

нами, но и когда их власть опиралась на нас. Им почему-то вдруг становилось выгодно нас убивать — и нас убивали. Аудитории нужны доказательства? — спросил он, колдуя над белым фарфоровым чайником с заваркой. Виктория покачала головой. — Аудитории не нужны доказательства, — резюмировал Слава. Он налил себе горячего крепкого, почти черного чая прямо в поллитровую банку и заглянул в чашку Виктории: “Да ты почему не пьешь? После такого дня на толкучке — без чая не согреешься. И ешь. Соня очень здорово жарит картошку. Я или недожарю, или сожгу, а она умеет в самый раз! Артистка!”

— Как же вы туда поедете, ведь там все время война, — Виктория не могла отделаться от одолевавших ее вопросов и сомнений.

— Вот поэтому мы и не имеем права сидеть здесь. Мой отец с первого дня ушел на фронт и не искал лазейки, чтобы сбежать в тыл. Я не хочу быть хуже своего отца. Так, что ли? — улыбнулся Слава Виктории и отхлебнул из банки. — Еще есть вопросы? Больше нет вопросов. Ну и ладушки. Теперь слушай. Эти типы тебя, конечно, заметили на толкучке и теперь постараются выяснить, кто ты. Мы чумные, с нами встречаться опасно. Поэтому, если просто так, без дела, то лучше ко мне не ходи. А ежели решишься, то готовься ко всему. Я не думаю, что они пойдут на твою посадку, но с работы вы-

шибут — это уж точно. Ну, и запугивать будут — без этого они не умеют. Держат марку фирмы.

Они шли рядом по пустынным темнеющим улицам. Славе приходилось замедлять шаги, чтобы не убежать от еле поспевающей за ним быстро семенящей спутницы. На некотором расстоянии от них так же медленно двигались две мужские фигуры.

— Ну, теперь тебя засекли, — тихо сказал Слава. — Некоторое время будешь у них на прицеле. Если отстанешь от нас — они оставят тебя в покое. Но смотреть будут в оба. Ты для них теперь — потенциальный поджигатель третьей мировой войны. Минуточку, — вдруг остановил Слава Викторию. Фигуры тоже остановились.

— Граждане, — громко позвал Слава, — не найдется ли у вас курева? — и оставив Викторию одну, направился к ним. Он вернулся, с наслаждением затягиваясь резким сигаретным дымом. И обе пары, сохраняя дистанцию, продолжили свой путь.

Между разговорами об одноклассниках, разбросанных по всей стране, Слава выяснял кое-что и о самой Виктории. Есть ли родственники за границей? (“Как в отделе кадров”, — подумала она). — Наверно, есть. У отца была сестра, но кто ее теперь разыщет. — Если будут спрашивать, скажи, что живет в Израиле и иногда пишет. Сколько тысяч накопила в сберкассе? — Ищу десятку до полочки. — Я постоянно в такой же ситуации,

только получка не предвидится. А нужна тысяча на каждого взрослого.

— Тысяча? — задыхнулась Виктория. — За что?

— Плата за страх. Или за обретенную свободу. Или за осуществление мечты. Или за сто долларов — по курсу черного рынка: один к десяти.

— А если без долларов?

— Здесь не торгуются. Это — как на большой дороге. Тебя грабят, а ты улыбайся и благодари.

Они расстались на том же месте, где — почти четыре года назад — Слава восторженно показывал Виктории свою таблицу.

В слабоосвещенном коридоре, как всегда, пахло мышами и известкой. Включенный на полную громкость репродуктор как будто еще с тех пор не прекращал нескончаемую, длиной в годы, песню:

“Кипучая, могучая,  
Никем непобедимая,  
Страна моя, Москва моя —  
Ты самая любимая!”

Братья Покрасс и Владимир Бунчиков продолжали демонстрировать верность идеалам своей отгремевшей юности. А вернее — это, уже без их ведома, крутилась на центральном патефоне старая проверенная пластинка.

— Скоты, скоты, скоты, скоты... — без конца повторяла Виктория, спотыкаясь о вмерзшие в наст глыбы глины. — Скоты, скоты, скоты...

Она бежала, она мчалась прочь, куда угодно, на край земли, подальше от этого проклятого места, которое уже много лет подряд именуется ее домом.

— Скоты, скоты, скоты... — беззвучно кричала она навстречу темным домам и редким прохожим, навстречу сгущающемуся туману и расплывчатым пятнам одиноких и тусклых уличных фонарей. — Скоты, скоты, скоты...

Как они смеют — скоты, подонки! Нажрались водки, загадили комнату — дым, вонь табачища, бутылки по всему полу. Она привыкла к этому, она уже много лет живет в этом борделе, именуемом рабочим общежитием. Она не спорит. Они, пьянущие, валяются вповалку со своими мужиками, все вместе, в одной комнате. Скоты. Но ей деваться некуда, это единственный ее дом. И она старается их не замечать (а как это: не замечать) — вернее, делать вид, что не замечает, что она сама по себе, а они сами по себе.

Они приучили ее спать в пальто и обуви, сняв только очки и укрывшись с головой. Скоты, скоты, скоты... Она их не видит и не слышит (как бы сделать, чтоб действительно — не видеть и не слышать?) Ей нет до них никакого дела! Она хочет только одного: чтобы они ее тоже не замечали (или делали вид, что не замечают). Пусть жрут свою водку, обнимаются со своими Юриками, гадят вокруг себя — и вокруг нее тоже, но пусть она для

них не существует.

Спотыкаясь и падая, раздирая в кровь колени и ладони, не разбирая без очков дороги и натываясь на дома, столбы, заборы, Виктория мчалась по темной вечерней улице к дому, о котором еще сегодня утром не имела представления, а сейчас он единственный на свете существовал для нее.

— Скоты, скоты, скоты... — без усталости твердила она, и снова перед ее близорукими глазами всплывало хихикающее и сквернословящее пятно, воняющее водкой и сдирающее с ее головы одеяло. Голый Юрик под ободрающую икоту пьяной Олечки пытался поднять Викторию под себя и шарил потными руками у нее под пальто.

Испуганная, с трудом осознавая происходящее, Виктория пружиной сорвалась с кровати, обеими руками оттолкнула напиравшего Юрика и с воплем "скоты, скоты" бросилась вон из комнаты. У выхода она споткнулась о разбросанные туфли и бутылки, упала, вскопчила и ринулась за дверь. Качающиеся в полутемном коридоре и на лестнице пьяные тени врассыпную бросились с ее пути, и она рванулась наружу, навстречу темноте, холоду и туману. Только подальше, как можно быстрее подальше от этого места.

Забыв о существовании звонка, она забарабанила в дверь. Щелкнул замок. На пороге стоял Слава. Она догадалась, что это он — без очков она различила толь-

ко расплывчатый силуэт. Он посторонился, и она, тяжело дыша, почти не осознавая ничего, ввалилась в комнату и опустилась на подставленный ей стул.

Дрожащими пальцами Виктория расстегнула верхнюю пуговицу пальто, судорожно глотнула воздух сквозь давившие на грудь спазмы, обвела комнату испуганным взглядом и, обессиленно уронив голову на спинку стула, может быть, впервые в жизни заплакала на людях, подетски размазывая и глотая слезы.

— Оля, да она совсем еще ребенок, — говорил мягким, с легкой картавинкой голосом Рублевый Бородач. Его утренняя угрюмость исчезла, и он, удобно разместившись на единственном предмете — диване (вся остальная мебель была уже продана и вывезена), с сочувствием разглядывал медленно успокаивающуюся Викторию. — Они не скоты. Где-нибудь в Швеции или Германии эта девочка привела бы к себе в отдельную квартиру своего кавалера, выпила бы с ним, поужинала, посмотрела телевизор или послушала бы музыку, пошла бы в гости или ночной бар. А нет — так осталась бы с ним тэт-а-тэт, и никто бы не заглядывал к ним в постель. Здесь у нее нет выхода, она вечно на виду, и она пьет и развратничает от злости. Нет, не она скотина, жизнь вокруг нее скотская.



— Скоты, скоты, — настойчиво, сквозь затихающие всхлипы повторяла Виктория. — Не жизнь, а страна у них скотская.

— Ну, нет, это уж вы слишком. Страна как страна — со своими скотами и со своими Человеками с большой буквы. Оля — это страна, Брежнев — тоже страна, Сахаров и Солженицын — тоже страна. Вы спросите вот у него, — кивнул он в сторону Славы, — и он вам подтвердит, что в Эреце тоже есть свои Оли и Юрочки.

— Нет-нет, — запротестовал Слава. — У нас в городе почти миллионное население, из них тридцать тысяч еврейцев. Половина из этого миллиона — Оли и Юрочки, как ты изволил выразиться. И — я утверждаю — это мое мнение, и я с ним согласен: среди них нет ни одного иудея.

— Вот тут вы, дорогой коллега, глубоко ошибаетесь. Во-первых, евреи есть всякие в нашем дорогом городе. Во-вторых, в России евреи, в силу исторических условий, составляют наиболее культурную, интеллигентную прослойку. А в Эреце евреи — не прослойка, а коренное население. И им приходится делать все, что полагается делать коренному населению. Так что, — обратился он к Виктории, — если вы надумаете уехать в Израиль, чтобы только сбежать от скотства, то вы совершите ошибку. Нет гарантии, что там вы не окажетесь в таком же общежитии с еврейской Олей и еврейским Юриком, только дело усугубится еще тем,

что вы не сможете им сказать все, что вы о них думаете. Ведь членораздельно изъясняться на иврите вы научитесь не скоро.

— Борода, ты ведешь вредную агитацию! — вспыхнул Слава. — Ты знаешь, что это не так, что Израиль — страна самой высокой культуры, но почему-то специально дуришь людям голову. — Он быстро прошелся по диагонали пустой комнаты и остановился напротив собеседника, который откинулся на спинку дивана и снизу вверх с интересом разглядывал нервничающего Славу. Из-за прикрытой двери, ведущей в соседнюю комнату, послышался голос Сони:

— Братцы, не дерите глотки, дайте детям спокойно раздеться. А то они открыли рты и прислушиваются к вашим упражнениям.

— Нет, Гилель, вредную агитацию ведешь ты, — понизил голос Борода. — Забудь о рафинированной культуре, о высоком материальном уровне, о квартирах и машинах. Мы едем в мало-развитую страну, которая существует меньше четверти века, а воюют больше, чем существуют. И собирает самых разных людей со всего света. Каждый приходящий к нам человек должен знать, что его там ждет трудная жизнь, может быть — война, что и он, и его дети будут солдатами, и другого выхода нет. И если он не готов к этому, ему лучше оставаться здесь, продолжать быть рабом, сытым рабом. И обречь на это своих детей.

— Бред! — взвыл Слава, еле сдерживаясь, чтобы не броситься на товарища. — Бред! Ты же читаешь письма! Янкелевич уехал пару месяцев назад. У него уже роскошная квартира, он уже заказал машину. И это — не пропаганда, это — факт, об этом пишет наш товарищ. А что было у него здесь? Комната в коммунальной квартире с микрофоном в унитазе! Венский стул на двух ножках — бабушкино наследство! — он снова забегал по комнате. Наткнувшись на стоявший посреди комнаты стул с сидевшей на нем притихшей Викторией, он вдруг вспомнил о ней и начал стаскивать с нее пальто. — Ты что сидишь, как чужая? Раздевайся, я вскипачу чайник. У Сони где-то должно быть печенье, — и он бросился на кухню.

— Ты знаешь, что я еду не за квартирой и машиной, — доносился из кухни его голос. — Я буду солдатом или грузчиком, или — пахать землю — что потребуется. Но мы стремимся собрать н а р о д. А ты знаешь, что тридцать тысяч иудеев здесь, в нашем городе, имеют кусок пола под ногами и кусок потолка над головой; не бог весть какие квартиры, но у них есть. И заработок, и еще кое-что на черный день отложено. Когда он приходит к тебе, он первым делом спрашивает: "Что я там буду иметь?" А ты ему под нос письмо Янкелевича, — кричал Слава, гремя чайником. — Янкелевич — это не абстракция, его полгорода знает. И вот еврейцы, запершись

дома за семью запорами, сидят и шепчутся со своими Саррами и Ривами: "Стоит? — Не стоит?" И по всему у них выходит, что-таки — да, стоит. А ведь на другой чаше их весов и собрания, и безработица, и неопределенный срок ожидания. И все-таки он снова приходит к тебе и шепотом просит заказать ему вызов.

— Но он приезжает в Эрец нахлебником, потребителем. Маленькая страна не может себе позволить роскошь собирать со всего света иждивенцев и рвачей. Там нужны работяги. А рвачи пусть рвут здесь.

— У этих рвачей есть дети, — парировал Слава, стоя в дверях и держа в руках дымящиеся чашки, которые мешали ему жестикулировать. — И в двадцатые, и в тридцатые, и после войны в Израиль приезжали всякие — и рвачи в том числе. А их детей мы сегодня с уважением именуем сабрами. И эти сабры — самые лучшие в мире летчики и танкисты. Сейчас я пошарю, должно быть где-то печенье.

В комнату вошла Соня, которой удалось в конце концов угомонить малышей.

— Сиди уж, — бросила она мужу. — Спорщик. Я сама все приготавливаю. — И скрылась за кухонной дверью.

— "Самые лучшие в мире", — передразнил Борода, продолжая спор, но уже не так азартно, и отхлебнул горячего чая. — Мы — самые сильные, самые смелые, самые ловкие. Мы — самые первые на земле, в небесах и на

море. Наши телеги — самые скрипучие, наш паралич — самый прогрессивный. Мы с тобой хотим построить свою страну, непохожую на эту, а везем туда с собой рабскую психологию. Россия — родина слонов! — он тщательно пережевывал фразы вместе с принесенным Соней печеньем. — А ведь это не от гордости, а от комплекса неполноценности. Когда грузины Сталин и Берия, еврей Каганович и армянин Микоян заламывали руки народу, которым взялись поведовать, они ублажали его байками: "Мы с вами — русские, мы с вами — самые-самые-самые". Народ поверил и стадом пошел за ними на убой. Это трагедия не меньшая, чем татарское иго. Нам с тобой мало, что у нас есть своя страна — маленькая и небогатая. Нет, у нас самая высокая в мире культура и самые лучшие летчики и танкисты, самое жгучее солнце и самые сыпучие пески. А там, где мы не самые, мы будем униженно прятаться, скрывать свой срам и не замечать, как над нами хохочет весь мир. Запомни, — втолковывал он допивающему второй стакан и покрасневшему Славе, — мы — самые обыкновенные, не лучше и не хуже других.

— Не "самые обыкновенные", а просто — обыкновенные, — поддел его Слава, и Виктория, с интересом прислушивавшаяся к спору, в последний раз всхлипнув, впервые улыбнулась за этот вечер.

Мне пришлось уехать из города. Кажется невероятным, что в России человек может спрятаться, исчезнуть, скрыться на некоторое время. Я ночевал на подмосковных дачах наших столичных друзей, в кооперативных квартирах Вильнюса и в двухэтажных особняках в Грузии. Несколько раз я чувствовал, что вот-вот попадусь: слезка шла по пятам. Но мне повезло.

Когда напряжение спало и угроза посадки, как мне показалось, миновала, я вернулся домой. В первый же вечер пришел к Гилелю.

— Приходи завтра на вокзал, — сказал он мне. — К московскому поезду. Вика уезжает.

— ??!

— Получила разрешение, — подтвердил Гилель. — Виза на руках. Два месяца — фантастический срок. Заказали вызов — ее сразу с работы вышибли. Жила здесь, на раскладушке, — показал он рукой на середину пустой комнаты. — Надеюсь, что денег даст тетка: давно обещала в качестве подарка к замужеству ассигновать на кооперативную квартиру. Ну, Вика и заикнулась на этот счет: еду, мол, на Ближний Восток выходить замуж, так нельзя ли авансом.

— Ну, и?

— Бежала от тетки быстрее, чем от Оли с Юриком, — грустно усмехнулся он.

— И как же?

— У меня были деньги.

Я подскочил от неожиданности.

— Но ведь это было тебе на визу! И потом — это не твои, ты же сам взял займы!

— У меня еще выезд не светит, а у нее виза проштампована. А что долг, так на месте разберемся.

Появились Соня с Викой. Я не видел Викторию два месяца. Нельзя сказать, чтобы она очень похорошела, но ожила; в ее движениях появился азарт, а в глазах то и дело вспыхивал радостный огонек. Она спешила, перебирала вещи, вталкивала их в чемодан.

— Таскали ее? — спросил я у Гилеля.

— Вначале. Попугали, поорали, увидели, что не поддается — и плюнули. Она сперва перепугалась и со страху лишилась дара речи. Ты ведь знаешь ее: насупится, нахохлится, уйдет в себя, втянет голову в плечи и молчит. А они решили: кремень, партизанка. Пока разобрались, а она уже очухалась, пришла в себя. Дальше им было уже бесполезно.

Я поздравил Викторию. Она, счастливая, улыбнулась и прижалась ко мне острым плечиком.

Рано-рано утром я на такси заехал за Викторией. Слава должен был отвезти детей в детский сад и приехать на вокзал к отходу поезда.

У вагона мы поцеловались, сказали что-то друг другу на прощанье, и я отошел в сторону,

уступив Вику дергавшим ее друзьям. Они обнимались, чмокались, спешили сказать недосказанное.

Раздался гудок. Проводник начал торопливо вталкивать пассажиров в вагон. Виктория стояла в тамбуре и растерянно улыбалась нам. Она, наверно, чувствовала себя виноватой за то, что вот — выпал ей счастливый билет, и она не может от него отказаться, или отдать другому, или взять нас с собой. "Это счастье на три части разделить нельзя".

А мы, радуясь за нее, смотрели на берущий разгон поезд.

Как ты попала в этот вагон, Вика-Витюля-Виктория? Что тебя привело сюда? Каким образом твои бородатые предки достучались до твоего сердца — через двадцать веков и шестьдесят поколений, через костры Испании и погромы Польши, через туманы Англии и вьюги России? Они научились делать это, наши с тобой мудрые предки.

Одни называют это голосом крови. Другие объясняют, что запрограммированная в генах ностальгия начала расшифровывать свой загадочный код и неудержимо потянула нас домой, на неведомую родину. А третьи — ничего не говорят. Собирают характеристики, продают вещи, занимают деньги, берут в охапку детей — и в путь! Шалом! До встречи на Святой Земле!

Вдруг на перрон, тяжело дыша и обеими руками поддерживая раздутый живот, вбежала

женщина и, перекрывая нарастающий грохот колес, крикнула в еще открытую дверь табмура:

— Вика, только что Славу арестовали!

И все, кто был на перроне и кто толпился у окон и дверей уходящего поезда, обернулись на этот отчаянный вопль. Соня стояла, навалившись на железный столб, и, как рыба, открытым ртом ловила воздух. К ней, энергично раздвигая провожающих, спешили двое — одинаковых, ре-

шительных, сильных, с широкими плечами и волевыми подбородками.

Мы, опередив их, окружили ее.

Славку, нашего Гилеля, арестовали. Ему выпал другой билет. И его поезд, набирая скорость, уходил сейчас в другую сторону.

В конце платформы, громыхнув прощально на повороте, исчез последний вагон московского экспресса.



## К ЮБИЛЕЮ Д. И Г. БААЗОВЫХ

Израильская общественность широко отмечает юбилей одного из основоположников сионизма в Грузии, страстного борца за права евреев Давида Баазова и его сына – известного писателя Герцеля Баазова.

В связи с юбилейными торжествами была создана комиссия во главе с Голдой Меир.

“Придавая такой размах чествованию Баазовых, – сказала Голда Меир, – мы хотим показать, что их деятельность – одна из значительных страниц нашей истории, еврейского народа, сионизма. Израильская общественность должна знать, что грузинское еврейство имеет длительную историю и внесло свою почетную лепту в распространение сионистских идей. Оно много горя хлебнуло в этой борьбе и пронесло через века любовь к исторической родине”.

К юбилейным дням вышла на грузинском языке книга о Давиде Баазове и его сыновьях. Подготовила публикацию Фаня Баазова.

Предлагаем читателям “Сиона” главы из романа “Петхаин” Герцеля Баазова, расстрелянного в октябре 1938 года сталинскими палачами.

### ГЕРЦЕЛЬ БААЗОВ

### ПЕТХАИН

Роман

Сам Натан смутно помнил то время, когда родители отдали его на учение к меламеду.\* Сохранилось в памяти лишь то, что это было зимой. Отец обул его в новые лапти, обсыпал его соломой, дал ему в руки “коро-микра”\*\*\* и повел в здание, которое называлось “талмуд-торой”. Натану было тогда пять или шесть лет. На прощание мать поцеловала в лоб и сказала:

– Ну, сам знаешь, как ты обрадуешь отца, изучив тору. Когда изучишь много торы, тогда будешь великим рабби.

Натан запомнил эти слова матери. Он знал, что учится для того, чтобы стать великим рабби.

Меламед или рабби, к которому привели его, был хромой, носил очень длинную бороду и беспрерывно держал во рту чубук. С самого начала страх охватил Натана. Ему не понрави-

\*Меламед – учитель.

\*\*\*“Коро-микра” – первоначальный учебник, азбука.

лось лицо меламеда. Но в то же время у него постепенно сложилось такое представление, что сильнее и учение меламеда никого на земном шаре не существовало. Поэтому каждое слово меламеда стало для него законом.

В первый же день Натана заставили читать. Он приложил палец к алфавиту и, под диктовку меламеда, переводил палец от буквы к букве и повторял:

— Алеф, бет, гимел...

Насколько товарищам Натана трудно было изучать алфавит по этому методу, настолько пытливый ум Натана легко усваивал его. Меламед замечал, что остальные ученики неумело шли за Натаном. Злоба охватывала его. Набрасываясь с кулаками на испуганных детей, он кричал им:

— Собачьи вы дети, щенки!

Натан тоже боялся гнева учителя. По ошибке рука меламеда и на его спине отпечатывала свой след. Потом очень долго ныло посиневшее тело.

Занятия в хедере продолжались с восьми часов утра до двенадцати и с трех часов дня до десяти вечера.

Часов у меламеда не было. Во дворе на белом камне меламед отметил центр, и когда солнечные лучи подходили к этому центру, он объявлял двенадцать часов и гнал детей по домам. В разное время года солнце подкрадывалось к этому камню то в десять часов, то в час дня, а иногда и вовсе не бросало лучей на него. Однако, меламед несколько не сомневался в том, что белый камень представлял собою верный показатель времени.

Натан был способным мальчиком. Чем старше он становился, тем сильнее проявлялась его любознательность. Его уже не удовлетворяли знания, которыми он обладал. Если у него возникал какой-нибудь вопрос, то он не мог успокоиться до тех пор, пока не разрешал его; он настойчиво расспрашивал товарищей, родных, меламеда и даже посторонних людей.

Родители гордились сыном, меламед — своим учеником. Соседи и приятели Исхака Джанашвили в один голос постоянно твердили:

— Будет великим рабби... Это великое светило Израиля...

Когда Натану исполнилось тринадцать лет и один день, его, по обычаю, объявили бар-мицвой. В этот день состоялось большое торжество в бедной семье Исхака Джанашвили. Приглашены были все рабби и меламеды, старшие ученики, знатные люди еврейской общины и родные. Все поздравляли семью Джанашвили со счастьем сына.

У Исхака Джанашвили и его жены Лии никого, кроме Натана, не было. Натан был для них не только единственным сыном, но и единственной надеждой. Ради него они ничего не жалели и в любую минуту были готовы отдать даже свою жизнь.

Провинциальное местечко, в котором жил Исхак Джанашвили и родился Натан, было очень бедно. Почти все еврейское население состояло из мелких торговцев вразнос. Исхак Джанашвили принадлежал к этой группе людей. Его основным капитал составляли пятьдесят семь рублей, которые он с огромным трудом оборачивал из месяца в месяц.

Лучшим временем года Исхак Джанашвили считал лето, так как его "торговля" заметно оживлялась. Около местечка находились минеральные источники, летом съезжались дачники. Железная дорога находилась далеко, да и простые дороги были плохи. Поэтому количество дачников бывало незначительно. Но все-таки приезжие обязательно что-то покупали у Исхака, ибо он славился своею честностью.

Репутацию честного человека Исхак заслужил. Он никогда не лгал, никого не обмеривал, не обвешивал и не запрашивал лишнее. Он доверял людям и нередко отпускал товар в кредит даже тем, кого впоследствии никогда не видел.

В нем укоренилось чувство правды и справедливости. Если он замечал, что кого-нибудь преследуют и обижают, то считал своим долгом заступиться за обиженного и оказать помощь нуждающемуся.

В домашней жизни он всегда оставался скромным и добродушным. Его жена Лия, как говорил сам Исхак, была достойной женщиной, любящей женой и матерью; одним словом, эшет-хаил.\*

\*Эшет-хаил – женщина-герой.



Со дня появления на свет Натана, родители мечтали лишь о том, чтобы он стал достойным сыном своего народа, то есть сделался раввином. Поэтому, когда приблизился день объявления Натана бар-мицвой, родители не пожалели ничего, чтобы отметить это "золотое время" жизни их любимого сына "большим шумом и торжеством".

К этому времени Натан уже изучил несколько томов талмуда. Поговаривали, что Натан должен произнести за столом первую свою религиозную проповедь.

С необычайным подъемом прошло торжество бар-мицвы; Натан действительно произнес "пламенные, божественные слова". Хромой меламед опьянел от радости и начал плясать. Восторгу родителей не было предела, и гости не отстали от общего веселья. Много было выпито за здоровье "восходящей звезды" израильского народа.

На следующий день, когда жизнь местных евреев вошла в обычную колею, произошел один незначительный случай. Но впоследствии многое в жизни Натана изменилось из-за него.

По поручению отца, Натан отнес на квартиру одному дачнику кое-какой товар. Дачник — русский еврей — был чисто выбрит и одет по-европейски. Натан сейчас же заметил в его комнате еврейские книги. Натан был удивлен, так как бритых и одетых так евреев ему еще не приходилось видеть. К тому же содержание книг показалось ему весьма странным. Натан знал, что на еврейском языке существует библия, мишна, талмуд и другие "священные книги". Но какие именно книги лежали в комнате дачника, он представить себе не мог.

Медленно он взял в руки одну из них. Взглянул на название: "Две крайности". Ниже стояла надпись: "роман Браудеса". Мальчик огорчился: он не знал, что называется романом. Он хотел поскорее узнать все. Но как? Каким путем? Дачник не понимал грузинского языка, Натан не знал русского. Он смотрел то на книгу, то на дачника. Дачник заметил любознательность мальчика. Он задал ему вопрос на еврейском языке. Натан был поражен. Ему показалось, что пред ним стоит сам сатана. "Бритый" и "неверующий" человек говорил с ним по-еврейски.

Разговорились.

— Очень хочешь узнать, что такое роман? Возьми эту книгу в подарок. Сам поймешь, когда прочитаешь ее. Впрочем, тебе еще мало лет и пока тебе рано читать такие книги. Но когда подрастешь, она тебя во многом обогатит.

Натан поблагодарил и попрощался, захватив с собою роман "Две крайности".

Прочитанный роман произвел в Натане глубочайший перелом. Весь мир перевернулся в его сознании, и он недоверчиво стал относиться ко всему тому, что раньше свято чтил и перед чем преклонялся. Пред его глазами раскрылся новый мир... Он полюбил природу. Летом стал уходить в лес или на вершины гор, либо купался в мощных волнах реки. Зимой он скользил по блестящему льду, сгребая белоснежные хлопья снега. Весною он ждал начала лета и волчьими глазами высматривал дачников, чтобы взять у них новые книги. Осенью он ждал начала зимы, чтобы в длинные зимние ночи тайком читать запрещенные книги, которые собирал в течение лета. Самостоятельно изучил русский язык и уже читал на трех языках: грузинском, русском, еврейском. Читал страстно, с увлечением.

Часто он даже не замечал, как наступал рассвет. Никто не знал его великой тайны, хотя родители замечали, что за последнее время Натан исхудал, высох, стал нервничать.

Однажды он неожиданно объявил отцу, что в будущем году собирается сдать экзамен в пятый класс местной гимназии.



Над кафедрой преподавателя висел портрет последнего императора династии Романовых.

Каждый раз, когда Натан приходил в гимназию и глядел на этот портрет, он испытывал какое-то неприятное чувство. В чем провинился перед ним Николай Второй? Натан знал, в чем он провинился. До начала уроков ученики возносили молитвы за его благоденствие, а Натан в это время стоял молча, понуриив голову. Ученики с удивлением смотрели на этот "редкий экземпляр", по окончании же молитвы рассерженный преподаватель обращался к нему:

– Почему ты не молишься?

– Я не знаю этой молитвы. Я – еврей.

– Ну, и что же, что ты еврей? Поэтому не должен молиться за государя императора?

Так повторялось каждый день.

Натан не хотел заучить эту молитву. Ученики смеялись над ним, а учитель стыдил его каждый день:

– Ты бы, по крайней мере, рот раскрывал, если ни на что другое ты не способен! Если войдет инспектор, то подумает, что и ты молишься.

Натан спокойно и молчаливо выслушивал всякие насмешки учителя и учеников. Было какое-то величие в его терпении, которое объясняли или трусостью Натана, или тем, что он – еврей. А Натан, не взирая ни на что, терпел и терпел.

Учился он беспрерывно. Не знал он, что такое лень. Никто не мог отрицать его больших способностей и умения по-настоящему заниматься. Преподавателей удивляло, что Натан быстрее других усваивал школьные предметы. Наиболее ленивые и неспособные ученики потому и возненавидели Натана, что уроки у него всегда были приготовлены, а у них – нет.

Натан обнаруживал чрезмерную любознательность. Это не нравилось преподавателям, а ученики и в этом отношении брали пример с учителей.

Точно существовало два лагеря: на одной стороне стояли преподаватели и учащиеся, на другой – один Натан. Все подчинялись общим правилам, один Натан не подчинялся им. Все молились за благоденствие государя императора, один Натан не молился. Все отдыхали по воскресным дням. Один Натан, кроме воскресных дней, отдыхал и по субботам. По понедельникам у Натана обычно бывали неприятности. Преподаватель первого урока (он же и классный наставник) брал в руки классный журнал и, убедившись, что Натана не было в субботу, насмешливо приветствовал его:

– Ааа... Здравствуйте, субботник!

И гимназисты покатывались со смеху.

Однажды, до начала уроков, во время молитвы за царя, в класс неожиданно вошел инспектор. При входе ему сразу

бросилось в глаза, что ученики иронически смотрели в сторону Натана. Он оглянулся сам и заметил, что Натан стоял неподвижно и не молился. Гнев обуял инспектора, но все же он ждал окончания молитвы.

Натан почувствовал на себе его гневный взгляд, и дрожь пробежала по телу. Он знал, что с инспектором выйдет неприятность, и с замиранием сердца ждал окончания молитвы. Молитва была прочитана, инспектор уже направился к парте Натана, когда внезапно открылась дверь. В класс поспешно вошел помощник инспектора и передал инспектору какую-то телеграмму. Инспектор прочитал ее и от неожиданности разинул рот. Он побледнел, нерешительно взглянул сначала на Натана, потом на своего помощника. Не произнеся ни слова, он поспешно вышел из класса. Вслед за ним пошли помощник и преподаватель. Все это показалось ученикам очень странным. Один из них пошутил:

— Телеграмма спасла нашего субботника, иначе плохи были бы его дела.

Но когда стало известно содержание телеграммы, заставившей побледнеть инспектора, все гимназисты были также изумлены. Поразило их не только содержание телеграммы, но и неожиданный поступок одного из гимназистов, о политических убеждениях которого никто ничего не знал. А этот гимназист быстро вскочил на кафедру, схватил висевший на стене портрет, сорвал его и со всего размаха неожиданно швырнул на пол. Потом горделиво выпрямился на кафедре и объявил:

— Отныне император я. Молитесь за меня!

Впервые в своей жизни Натан захохотал. Затем он приблизился к гимназисту и крепким, сильным рукопожатием показал ему свою огромную радость.



Ничего не любил Натан так сильно, как книги. Если случайно у него пропадал день для чтения, то этот день он считал вычеркнутым из жизни. Жадно изучал он историю, привлекали его и вопросы искусства, в особенности — литературы. Любил он Сенкевича и Толстого, Галеви и Бен-Габирола,

Бараташвили и Казбека. Он переводил с одного языка на другой, вел дневник.

В гимназии наспех сложились разные группы: социал-демократов, социал-федералистов, социал-революционеров, национал-демократов. Но по-настоящему в политических событиях никто не разбирался. Попастъ в одну из групп было очень легко. И все же Натан остался в стороне.

Многие ученики стали иначе, чем прежде, относиться к Натану. Наиболее развитые не только не избегали Натана, но даже стремились привлечь его к себе. Но некоторые продолжали считать евреев нечистоплотными людьми, поклонниками обособленной жизни, религиозными фанатиками, самым некультурным народом во всем мире.

Натан старался доказать им, что они ошибаются, что нельзя судить обо всех евреях по тем евреям, которых они видели здесь, в местечке. Он утверждал, что евреи – культурный народ, что они дали человечеству лучших представителей в различных областях, что их именами заполнена история культуры всего человечества. В качестве примера часто называл Спинозу, Маркса, Лассалья, Рубинштейна...

Но Натана спешили оборвать. Кто-нибудь нарочно спрашивал товарища:

– Тебе очень интересны дела уриев?\*

Натан бледнел, и спор на этом обрывался.

Слово "урия" было для Натана самым тяжким оскорблением. Всем своим существом ненавидел он это слово. Слыша, как его произносят, он чувствовал щемящую боль.

Он был недоволен революцией. Почему так мало изменилась жизнь? Почему революция не внесла ясности в вопрос о евреях? Ведь было необходимо предпринять определенные шаги! Слово "урия" следовало всем позабыть навсегда. Но это отвратительное слово все еще продолжало существовать.

Часто вспоминал Натан такой случай: он шел на мельницу кукурузу. Мельник Ело был тихий и честный человек. Никто никогда не слышал его крика. Все были довольны им. И вот, на проселочной дороге, ведущей к мельнице, показалась женщина.

\* Урия – жид.

Она вела с собою ребенка лет пяти. Дитя почему-то заплакало. Тогда женщина сказала ребенку:

— Если не замолчишь, то придет урия-мельник и съест тебя!  
Дитя от страха замолкло.

С тех пор Натан часто думал об этом ребенке, которому так рано стали прививать яд несправедливого отношения к евреям. А когда этот ребенок вырос, он встретился с Натаном на гимназической скамье и беспощадно бросил ему:

— Урия!

Однажды это слово попало в самое сердце. Натан раскрыл свой дневник и записал:

*Эта радость — показная,  
В глубинах души — по-прежнему траур  
И гимназия не даст мне забыть,  
Что все еще существует слово "урия".*



По вечерам, когда солнце скрывалось за высокими горами, когда на горизонте в последний раз еще состязались красный, оранжевый, желтый цвета и умирал знойный летний день, Натан тихо, неподвижно сидел у окна и глядел в необъятную даль.

Как змея, извивался неугомонный Рион. Слышен был рокот его могучих волн, яростно нападающих на сваи моста. Тихий шелест высоких тополей присоединялся к рокоту реки. А по мосту прохаживались разные люди: дачники, молодежь.

Всегда в этот час мимо окна Натана проходили две женщины, направляясь на прогулку. Вот уже седьмой раз Натан видел этих новых дачниц. Первые два—три дня Натан не обращал на них внимания. Но затем он как-то незаметно привык к тому, что вечером, именно в это время, которое он любил проводить у своего окна и молча смотреть вдаль, — как бы в назначенный час — должны показаться эти две женщины, пройти мимо его окна и направиться дальше к мосту. Натан долго провожал их глазами, пока они не скрывались в переулке на том берегу.

Одной из них было лет сорок, а другой лет семнадцать—восемнадцать. Они были очень похожи друг на друга. Очевидно,

старшая была матерью, а младшая — дочерью. Мать была высока, лоб ее уже прорезывали морщины, но она сохраняла следы былой красоты. В ее движениях, в одежде обнаруживалась полугорожанка, полупровинциалка. Напротив, у дочери проявлялось больше городской уверенности. Сразу трудно было определить — красива она или нет. Но внимательный глаз отличил бы ее красоту.

Чуть худощавую, но стройную фигуру украшало веселое, почти еще совсем детское, привлекательное лицо. Зеленые выразительные глаза притягивали к себе. Длинные каштановые волосы подчеркивали ее женственную нежность.

Натан изучил лица женщин, их характерные черточки, одежду. Одного он не мог понять в себе самом: в этом году приехало много дачников, но только лица этих женщин запечатлелись в его сознании так отчетливо. Почему это произошло? Натан и сам не мог ответить на этот вопрос. Ему приходило в голову, что все это лишь простая случайность. Да и как могло быть иначе? Что общего имел Натан с какими-то незнакомками?

И все же однажды вечером Натан открыл, что между его времяпрепровождением у окна и прогулками тех незнакомых женщин существует какая-то странная связь.

Натан по обыкновению сидел у окна. Именно в это время мимо проходили мать и дочь. Натан уже хорошо знал это и как будто ждал их появления. Однако, женщины запоздали. Натан стал мрачным. Как будто он оказался недоволен тем, что женщины нарушили установившийся порядок. В то же время он бранил и себя: "Какое дело ему, Натану Джанашвили, до того, что какие-то незнакомые женщины медлили своей прогулкой? Возможно, они и вовсе не выйдут на прогулку сегодня. Не все ли это равно? Разумеется, все равно..."

Так думал Натан и все-таки сидел у окна и ждал. Время летело, а тех женщин не было видно.

Гуляющие уже разошлись. Стояла глубокая ночь, а незнакомки все еще не выходили. Натан все сидел у окна и думал о них. Тысячи мыслей пронеслись в голове, но самой страшной для него оказалась мысль: "Возможно, молодая девушка

заболела, мать ухаживает за нею и потому они не могли пойти на прогулку”.

Натан так задумался, что даже не заметил, как подошла к нему его мать Лия. С материнской нежностью та погладила его по волосам и сказала:

— Пора спать, мой Натан!

Натан поцеловал ей руку и вошел в комнату.

На следующий вечер Натан по обыкновению сидел на своем месте и с замиранием сердца ждал появления незнакомых женщин.

Когда мать и дочь поровнялись с окном Натана, дочь неожиданно подняла голову вверх и заметила Натана. Их глаза встретились впервые. Молодые люди зарделись, потом отвели взгляд друг от друга.

Мать ничего не заметила, и обе женщины продолжали свой путь. А Натан преследовал дочь взглядом до тех пор, пока та не скрылась в переулке.

Так продолжалось почти каждый вечер. Совершенно незнакомые молодые люди, не сговариваясь, не произнеся ни одного слова, стремились к назначенному месту: один — к окну, а другая — к шоссе, к мосту, чтобы хоть одно мгновение взглянуть друг на друга, вновь зардеться и вновь отвести глаза друг от друга до вечера следующего дня.

Эти вечерние взгляды, минуты ожидания вносили что-то новое в жизнь Натана. Но чего хотелось Натану? Почему каждый день он так нетерпеливо ждал приближения вечера? Почему Натану хотелось поглубже взглянуть в глаза девушки? Почему краска заливала лица обоих, когда их взоры встречались? Что думала она в это время о Натане?

Натан не был в состоянии ответить на эти вопросы.

Однажды вечером, сидя по обыкновению у окна, Натан заметил, что молодая девушка уже издали смотрит на него. Натан с радостью устремил взор ей навстречу. Девушка, как и прежде, покраснела и опустила голову. Тогда Натан стал смотреть в пространство и сейчас же почувствовал, что на него



опять смотрят. Однако, он не мог взглянуть прямо в глаза девушки. А та, точно вкопанная, стояла и в самозабвении смотрела на Натана.

Женщина средних лет, которая не могла определить, куда смотрела, задумавшись, ее дочь и из-за чего она отстала от матери на несколько шагов, взволнованно крикнула ей:

– Что с тобою, Эстер? Почему ты остановилась там?

Эстер очнулась, но ответ был все же рассеянный:

– Ничего, мама... Красота природы очаровала меня... Видишь, как красив этот сосновый лес... Я остановилась на один миг... Иду, иду...

И обе скрылись из поля зрения Натана.

В тот вечер Натан узнал две вещи: во-первых, что ее зовут Эстер, во-вторых, что Эстер сказала матери неправду. Ложь Эстер его совсем не огорчила. Несомненно, Эстер смотрела на Натана с таким же любопытством, как и Натан на нее. Он решил познакомиться с девушкой.

Всю ночь он взволнованно обдумывал, как осуществить это, но ничего не мог придумать.

Волновался он и в следующий вечер, когда сидел у окна, ожидая двух женщин. Он не знал, как поступить. Он глядел только туда, откуда должны были появиться мать и дочь.

И внезапно сердце радостно забилося: шла Эстер, шла одна. В одной руке она держала пустой стакан, в другой – книгу. Поровнявшись с окном Натана, Эстер, не поднимая головы, продолжала путь.

Тогда Натан, не утерпев, крикнул ей:

– Эстер!

Девушка вздрогнула, остановилась. Поразило ее то, что незнакомый юноша знал ее имя. Натан быстро сбежал по лестнице и очутился на улице, лицом к лицу с нею.

Некоторое время оба стояли молча, смущенно опустив головы.

Наконец, Натан нарушил молчание и нерешительно обратился к ней:

– Вас зовут Эстер. Меня – Натан. Если и вы так же хотите, будем знакомы.

Естер подняла голову и скромно ответила:

– Хочу.

Натан заметил стакан.

– Если не ошибаюсь, вы направляетесь к источнику. Разрешите сопровождать вас?

В знак согласия Естер кивнула головой.

Когда Натан второй раз протянул Естер стакан, наполненный минеральной водой, Естер тихо засмеялась и, шутя, сказала ему:

– По-видимому, эти воды полезны только для приезжающих из города.

– Откуда это видно?

– А вы, ведь, не пьете?

– Это недостаточный аргумент. Я часто бываю здесь и жадно пью воду этих источников. Но сегодня я не пью ничего, потому что... Я и сам не знаю, почему я не пью!..

Натан действительно не знал, что с ним происходило, почему он так волновался, стоя перед этим крохотным существом, от которого не скрывалось его замешательство.

Натан стоял рядом с Естер и восторженно глядел на ее привлекательное лицо. Ему не хотелось, чтобы их беседа когда-нибудь закончилась. Натан чувствовал, что его однообразной жизни приходит конец, что никогда за всю его жизнь его сердце не билось так сильно, как сейчас, в этих сумерках, у минеральных источников, лицом к лицу с Естер...

Естер продолжала:

– Те, кто выросли в больших городах, не знают, что такое природа. Душа горожанина не понимает подлинной красоты восхитительного величия просторов. В городе все сжато, строго вымерено, высчитано. Там душно. Там жизнь быстра и сосредоточена. Там господствует холодный рассудок и никому нет дела до чувств.

– Значит, вы довольны нашим дачным местом?

– Да, очень. Я с большим удовольствием покинула город и приехала вместе с матерью сюда, чтобы здесь провести лето. Я не могла представить себе, что этот курорт так красив. Эти необъятные горы, этот сосновый лес, эта река, эти минеральные

источники, эта свобода, чистота и необозримость простора — прекрасны.

Натан задумался.

— Вы почему-то задумались? — спросила Эстер.

— Ваши слова заставили меня задуматься. Вас очаровал наш край. Так и должно быть. Грузия — красивейшая страна, славящаяся своей многокрасочностью. Наш курорт представляет одну из составных ее частей. Но...

— Что "но"?

— Почему так резко вы выступаете против города? Неужели город не имеет своих красот, своей силы, своей привлекательности? Я уже в восьмом классе. В будущем году, окончив гимназию, я собираюсь ехать в город, чтобы получить высшее образование. Я знаю, что в городе не встречу такой красивой природы. Зато там есть богатый и многообразный материал, необходимый для нашего развития.

— Конечно, город имеет свои достоинства. Но я провела лишь параллель... Несомненно, что вам город необходим.

Последнюю фразу Эстер произнесла отчетливо, подчеркнуто. Потом взглянула на Натана, украдкой скользнула взором по его лицу и опустила голову.

После короткой паузы Натан спросил:

— Почему вы думаете, что мне необходим город? — Затем он добавил: — Я сам знаю: он мне необходим. Но я спросил вас потому, что мне показалось, — вы сказали об этом с какой-то особой настойчивостью.

Кто-то зажег свет у источника. Молодые люди почувствовали, что это искусственное освещение совсем не нужно. Полная, яркая луна и без того освещала их лица. Эстер готовила ответ.

— Когда я выезжала из города, грудь мне давила какая-то неизъяснимая тоска. Потом я убедилась, что меня волновала участь моих братьев. Как могла я представить, что здесь, в горах, в глухом уголке, я встречу с евреем, оканчивающим среднюю школу? Пожалуй, это для меня было больше, чем открытие нового материка для Колумба. Грузинские евреи не похожи на евреев других стран. Не думаю, чтобы где-либо

существовал еще уголок, где бы евреи были такие отсталые, такие безграмотные, как у нас.

– А разве в Тбилиси нет образованных евреев?

– Их очень мало. Два–три кутаисских студента. Столько же цхинвальцев. А в самом Тбилиси – ни один еврей не оканчивал средней школы. В этом году лишь я одна окончила ее. Увы, насколько я знаю, во всей Грузии я – вторая или третья еврейка, которую называют образованной.

– А мне казалось, что только здесь не учатся. Я думал, что в Тбилиси я учился бы в университете вместе со многими евреями.

– Разумеется, вы найдете товарищей, но очень мало. Поэтому вам должна быть понятна высказанная мною мысль. Вы должны поехать в город, получить высшее образование, установить связь с этими единичными, разбросанными товарищами и потом, совместно с ними, постараться стать у руля нашей жизни.

– Вы правы, Естер. Этих товарищей мало. Но ведь все-таки они существуют! Нужно объединиться, установить тесную связь.

– Так, так, Натан. Нужна тесная связь, нужно объединиться. Вне этого трудно бороться со всеми теми явлениями, с которыми мы сталкиваемся. Старая ржавчина очень глубоко въелась в плоть и кровь наших братьев, и для того, чтобы очиститься от нее, нужна напряженная борьба.

– Ведь эту борьбу легче вести в городе?

– Да, сравнительно. Поэтому-то я думаю, что вам, в особенности вам, необходимо жить в городе, чтобы создать первый небольшой отряд, который сумел бы приблизить нашу культурную весну.

Естер немного помолчала и потом продолжала:

– Не подумайте, что наше знакомство случайно. Нет! Я хотела познакомиться с вами с того дня, как случайно узнала от одной женщины, что у Исхака Джанашвили есть образованный сын, Натан. Потом та же женщина показала мне вас. Вы тогда сидели у окна и читали книгу. Каждый вечер во время прогулок я смотрела на вас тайком, смотрела так, что этого не

замечали ни моя мать, ни вы. Однажды наши взоры неожиданно встретились, и я покраснела. Я увидела, что и вы покраснели. С тех пор каждый вечер мне хотелось еще раз вас увидеть. Я знала, что и вы наблюдаете за мною. Мы оба мечтали познакомиться. Но мы не имели возможности осуществить это до сегодняшнего вечера. Когда я одна, без матери, приблизилась к вашему окну, мне было трудно поднять голову, и машинально продолжала свой путь. Когда вы окликнули меня, я вздрогнула: все-таки мы не были знакомы. А теперь мне кажется, что я давно знакома с вами, что все так и должно было случиться.

Беспредельное счастье отразилось на лице Натана. Большого восхищения он никогда не испытывал. С трудом он выговорил:

— Я очень... очень рад... что познакомился с вами! — и затем добавил: — Надеюсь, наше знакомство не прервется... Ведь, мы вместе с вами станем бороться за лучшее будущее?

Естер тяжело вздохнула.

— К сожалению, нет. Я не принадлежу к числу тех счастливых, которые могут окончить университет.

Натан был поражен. Естер продолжала:

— Как объяснить вам это? Мой отец состоятелен, очень своеобразен и, как сам говорит, умеет угадать жизнь. Но он неуклонно возвращается к старому, отступает назад. Переменил костюм и побрил бороду. Только этим он и приобщился к прогрессу. А сущность осталась старая. Наша семья европеизированная и дикая в одно и то же время. Быть может, в Тбилиси вы сможете понять подлинную причину этого. Гимназию я окончила по желанию отца: "Женщина, — говорил он, — должна быть образованной. Это хорошо". — Я жадно набросилась на учебу, и стремление к знанию стало еще сильнее. Но тут снова появился мой отец и заявил: "Довольно! Окончила гимназию и хватит с тебя. Женщине нет надобности кончать высшую школу, ей это вредно. Теперь нужно выйти замуж". — На этой почве у нас в семье происходила большая борьба. Я слаба. Что я могла сделать? Я лишь плакала. Когда мать попросила отца разрешить мне поступить в университет, отец побледнел и прикрикнул на нее: "Зильфа, кто хозяин в этом доме?" — Мать

испугалась. Так решился вопрос обо мне... Однако, отложим пока этот разговор. Пора идти домой. Мать ждет меня.

Молодые люди чувствовали тяжесть, которая, словно камень, придавила им грудь. Они медленно перешли мост и свернули в ближайшую улицу. Им трудно было продолжать разговор.

У переулка Естер остановилась.

— Теперь я пойду одна. Если хочешь видеть меня, жди завтра в семь часов вечера на той стороне моста. На песчаном берегу есть длинная скамья. Я буду там. До свиданья.

Натан растерялся. Ему не хотелось прощаться. Потом крепко пожал руку девушки, и лишь тогда, когда Естер скрылась, он заметил, что в руках у него осталась ее книга.

Медленно шагая, он вернулся домой.



Была пятница. Натан знал, что каждый шестой день недели — пятница. Но такой пятницы он еще не помнил.

В этот день всегда устраивался большой базар. Огромная площадь наполнялась приехавшими из уезда крестьянами, женщинами, продающими продукты, мелочными торговцами — евреями, мясниками и лапотниками. Продавцы всегда приставали к покупателям и уговаривали их купить у них товар. Сегодняшняя пятница уже с утра выглядела как-то странно. Покупатель искал продавца, а продавец как будто увиливал. Цены росли с каждой минутой, и поэтому продавец старался как можно дольше удержать товар у себя.

В каждом переулке, на всех перекрестках, у каждого продавца стояли люди и таинственно перешептывались. Этот шепот рождал какой-то неизъяснимый страх. Люди спешили, суетились. Из рук в руки лихорадочно передавались красненькие николаевские десятирублевки, "кережки" и боны. А цены все росли и росли.

В этот день Исхак Джанашвили тоже выставил свой стол на площади. На столе ничего не лежало. Все, что имелось у Исхака, он запрятал под стол. И стоял, задумавшись, глядел на беспокойно спящих людей.

Он заметил Натана, стоявшего в толпе и прислушивавшегося к базарному гомону. Он удивился и окликнул его. Натан подошел к отцу.

– Почему, дитя, ты сегодня не в гимназии?

– Сегодня занятий не будет. Мы должны собраться в гимназии к двенадцати часам. Затем придем сюда. На площади состоится митинг.

– Нехорошие, Натан, предзнаменования!

– А я ничего не понимаю, что творится вокруг. Вот хотя бы, почему ты, отец, припрятал товары под стол и не продаешь их?

Исхак улыбнулся.

– Эх, дитя, не торговец ты у меня! Как это тебе объяснить? Ты другой путь избрал. А я, темный человек, все стараюсь быть осторожнее и не резать свою семью.

– Если ты не продаешь товар, кто же даст тебе денег?

– Послушай меня! Товар никогда не утратит своей цены. А деньги... деньги уже не стоят даже бумаги... Утром, сколько товаров я ни выложил на стол, – все было расхвачено сейчас же. Я набавлял цену, но покупатель не отступал и платил. В ящике у меня сложены миллионы. Я даже не могу в руках унести столько денег. Нужно положить их в мешок. Смешно! Исхак Джанашвили, средства которого составляют пятьдесят семь рублей, – внезапно стал миллионером! Исхак Джанашвили – и миллионер! Товарищ Ротшильд!

Исхак громко расхохотался, потом продолжал:

– Сегодняшний миллион ветром занесен. Завтрашний день вновь умчит этот миллион так, что у меня не останется и одного рубля. Я беден, у меня нет, как у богачей, такого состояния, чтобы пустить по ветру мою последнюю мелочь. Говорят, война началась. Если это верно, мне нужно быть еще более осторожным. Иди, дитя, в гимназию, займись своим делом. А я буду проявлять здесь осторожность. Твой отец ни в чем не обманется.

Натан не сомневался, что война действительно началась. Но кто воевал с меньшевистской республикой – было толком неизвестно. Одни сообщали, что армяне, другие называли русских, а третьи нерешительно упоминали о большевиках. Но

что представляли собою эти большевики — Натан по-настоящему не знал. О них он имел весьма туманное представление.

В гимназии ему бросились в глаза длинные черные усы директора, уже поднимающегося на кафедру. Гимназисты настороженно ждали, что он сообщит. Директор многозначительно откашлялся и начал:

— Сыны родины! Дорогие гимназисты! Родина в опасности! — затем остановился, достал из кармана телеграмму, положил ее на стол и продолжал: — получена телеграмма от самого министра внутренних дел. Красные империалисты, большевики, внезапно объявили нам войну и вторглись в Грузию. Наша славная, доблестная гвардия отогнала их далеко. Но опасность все-таки велика. Как известно, у большевиков большая армия. Зато на нашей стороне вся блистательная Антанта. При помощи ее и нашей гвардии мы победим врага. Грузины, к оружию! Объявлена мобилизация. Вы обязаны все, как один, составить отряд добровольцев и поспешить на помощь доблестной гвардии. Вы должны доказать...

Впоследствии острили, что телеграмму меньшевистского правительства доставили на буйволах.

Неожиданно сторож принес новую телеграмму. Директор прервал речь, прочитал ее и побледнел. Скрыть содержание телеграммы было невозможно. Поэтому он расправил усы, окинул взором молодых людей и медленно начал:

— Получена печальная телеграмма. Тбилиси пал. Но не падайте духом. Тбилиси не взят врагом, а оставлен нами самими. Эвакуация Тбилиси была осуществлена по гениальным стратегическим соображениям генерала Квинитадзе, дабы отступлением создать возможность укрепиться и перейти в наступление.

Директор замолк, так как почувствовал, что никого убедить уже не мог. Рядом с Натаном кто-то тяжело вздохнул:

— Если пал Тбилиси, — к чему стратегия?

Происходящие события ошеломили патриотически настроенных молодых людей. В возбуждении они вышли из гимназии и направились на митинг. По дороге какой-то гражданин спросил шедшего впереди гимназиста:



– Действительно ли Тбилиси взят?

Гимназист гневно ответил:

– Провокация! Не смейте верить этому!

Гражданин успокоился и пошел вместе с гимназистами.

Митинг уже начался. На высоком балконе стоял какой-то высокий мужчина в желтых очках и патетически восклицал:

– Товарищи! Господа! Граждане! Рабочие!.. Крестьяне!.. Братья!.. Отцы!.. Матери!.. Сестры!.. Друзья!.. Сыны родины!.. Грузинский народ и все друзья Грузии! Грузия в опасности! На нас напали большевики. Знаете ли вы, что такое большевики? Они ограбили и опустошили всю Россию. Теперь они хотят покорить и разгромить нас. Всюду, куда большевики ступят, они превращают все в пепел, разрушают дома и церкви, сжигают города. Они хотят сделать Грузию красной, хотят в крови потопить Грузию. Сыны родины! Наша славная гвардия героически борется, но нужно подкрепить ее тыл, ее нужно подбодрить. Армия голодает. Нужно экстренно снабдить ее провиантом. Я призываю вас немедленно собрать для нее муку. Крестьяне! Знайте, что теперь родине нужна ваша помощь. Если вы не поможете и сюда вступят большевики, они не только муки не оставят вам, но отнимут у вас все...

*Перевод с грузинского*

## “НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ” КЛАССИК

У книг — свои судьбы, как и у людей. В конце 1966-го года я закончил переводить (по договору с московским издательством “Прогресс”) роман израильского писателя Аарона Мегеда “Хедва и я”. Рукопись была одобрена, отредактирована... и возвращена переводчику: вспыхнула Шестидневная война, и об издании в Москве произведений израильских авторов не могло быть и речи. Роман этот вышел в прошлом году, но не в Москве, а в Тель-Авиве, и не в “Прогрессе”, а в “Библиотеке Алия”.

Много любопытного я мог бы рассказать и о некоторых других своих рукописях, например, о книге “Дело Эйхмана”, которую я написал для “Госюриздата” и набор которой был рассыпан по приказу свыше; о книге “Дно мира” (Мертвое море, Иордан, Тивериадское озеро), написанной по заказу “Гидрометеоиздата”; о книге репрессированного еврейского писателя Айзика Платнера “Горящее сердце”, которую я перевел для государственного издательства Белоруссии, и о ряде других. Но обо всем этом — когда-нибудь в другой раз. Сегодня мне хочется сказать несколько слов о “новой серии” известного эпистолярного произведения Шолом-Алейхема “Менахем-Мендл”.

Первые рассказы, главными героями которых были Менахем-Мендл и его жена Шейна-Шейндл, появились в еврейской прессе еще в 1892 году и сразу завоевали огромную популярность. Но лишь в 1909 году, спустя семнадцать лет, Шолом-Алейхем завершил работу над этим классическим “романом в письмах”, переведенном на многие языки мира. Менахем-Мендл, профессиональный неудачник, “человек воздуха”, с упоением хватается за любое дело, которое сулит избавление от нищеты и бесправия. Он был попеременно сватом, маклером, страховым агентом, но всюду его преследовали неудачи. Все его отчаянные попытки выбиться в люди неизменно терпели крах.

В 1913 году Шолом-Алейхем снова вернулся к своему любимому герою, сделав его... журналистом и международным обозревателем. Так родилась “новая серия”. На страницах еврейской газеты “Хайнт” (“Сегодня”), выходившей в Варшаве, было опубликовано более сорока рассказов-писем “новой серии”, где речь идет о самых жгучих вопросах дня. Война и мир, антисемитизм, выселение евреев из деревень, дело Бейлиса, еврейская эмиграция в Америку, сионистское движение — таковы основные темы этих рассказов, весьма актуальных и в наше время.

Лет пятнадцать назад я начал переводить на русский язык “новую серию” и рассылать авторские заявки в разные издательства и журналы. Увы, результаты оказались весьма скромными. Два рассказа из “новой серии” опубликовал журнал “Огонек” (№ 35, август 1964 года) и два рассказа опубликовала “Нева” (№ 10, октябрь 1965 года). Восемнадцать рассказов обещал включить в последнее собрание сочинений Шолом-Алейхема Гослитиздат, но свое обещание не выполнил и, продержав рукопись более двух лет, вернул ее переводчику.

Особенно мне хотелось опубликовать рассказ этой серии, который условно можно назвать “Если бы я был депутатом Думы...” (публикуется в этом номере “Сиона”). Написанный шестьдесят три года назад, рассказ звучит так, будто написан сегодня. И тут мне пришел на помощь Ефим Григорьевич Эткинд — известный теоретик в области художественного перевода, профессор ленинградского педагогического института имени Герцена (в прошлом году был изгнан из Советского Союза и живет сейчас в Париже). В ту пору он был у нас в Ленинграде ответственным редактором устного альманаха “Впервые на русском языке” органа секции переводчиков Союза писателей. Этот альманах пользовался популярностью среди интеллигенции и студенческой молодежи, среди его авторов были не только ленинградцы, но и москвичи. В нем публиковались преимущественно переводы современных зарубежных авторов, которых никогда бы не напечатал ни один советский литературный журнал.

Ефим Григорьевич Эткинд решил рискнуть и включить этот рассказ Шолом-Алейхема в программу очередного альманаха, назначенного на 19 апреля 1968 года. Чтение рассказа было поручено молодому, способному артисту Аркадию Шалолашвили. Я выступил с коротким вступительным словом о новой серии “Менахем-Мендл”.

Успех превзошел все ожидания. Рассказ прозвучал подобно разорвавшейся бомбе. (Надо помнить, что этот вечер состоялся менее, чем через год после Шестидневной войны, когда весь мир еще находился под впечатлением беспримерных побед израильской армии). Интересно было наблюдать за лицами слушателей в битком набитом зале. Мне, находившемуся на сцене, это было очень удобно. На многих лицах было выражение неподдельного восторга и энтузиазма, на некоторых же было написано недоумение, а кое-кто не на шутку перепугался. С трибуны писательского клуба, находящегося по соседству с “Большим домом” — резиденцией Ленинградского КГБ — громогласно звучал восторженный дифирамб во славу еврейского народа и гневно осуждался звериный антисемитизм, ставший в СССР государственной религией. И ничего нельзя было поделать — ведь слова эти принадлежали классику...

Когда чтение окончилось, раздался шквал аплодисментов. В антракте десятки людей жали мне руку.

Я преподнес один экземпляр рассказа с теплой дарственной надписью Аркадию Шалолашвили, второй экземпляр — Е. Г. Эткинду и еще

## К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

несколько экземпляров раздал моим друзьям. На вечере в доме писателя присутствовало несколько человек с магнитофонами. Одним словом, я не сомневался, что количество читателей и слушателей этого рассказа быстро увеличится. Так и случилось. Вскоре до меня дошли вести, что этот рассказ Шолом-Алейхема читают в Москве, Киеве, Риге... А спустя некоторое время я был приятно удивлен, услышав свой перевод по израильскому радио. Значит, кто-то сумел провезти его через границу. Эта передача была несколько раз повторена.

Любопытно, что среди людей, смертельно испугавшихся Шолом-Алейхема, оказался главный редактор еврейского журнала "Советиш Геймланд" Арон Вергелис. Лет пять назад, перепечатав в своем журнале новую серию "Менахем-Мендла", он этот замечательный рассказ попросту опустил, нигде даже не оговорив. Это — откровенно жульнический трюк, так как у читателя создается впечатление, что "новая серия" публикуется полностью. Снова подтвердилась старая истина — советские фальсификаторы и их прислужники больше всего на свете боятся правды.

Я рад, что перевод этого рассказа, который до сих пор как бы относился к разряду устного творчества (он звучал со сцены и по радио, но нигде не был напечатан), публикуется в журнале "Сион" и станет доступным широкому кругу читателей.

*А. Белов*

Иерусалим, 9 апреля 1976 года.

## ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

### ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕПУТАТОМ ДУМЫ...

(Письмо Менахема-Мендла своей жене Шейне-Шейндл)

Моей дорогой супруге, благонаправной и добродетельной г-же Шейне-Шейндл – доброго здоровья!

Первым делом уведомляю тебя, что я, слава Богу, жив и здоров. Пусть, с Божьей помощью, всегда приходят к нам друг от друга только хорошие и утешительные вести – аминь!

А во-вторых, я хочу, чтобы ты знала, моя дорогая супруга, что в дела Думы я не вмешиваюсь и о депутатах невысокого мнения, так как не люблю пустозвонов. Я твержу свое: напрасный труд все старания и хлопоты добрых людей, которые хотят заступиться за нас и говорят, что мы вовсе не такие, какими нас рисуют. Больше того, я считаю, что эти заступники делают нам только хуже.

Если бы, скажем, я был депутатом, из числа тех депутатов, что заседают в Думе, то я сказал бы Пуришкевичу вместе с Марковым и Замысловским,\* чтобы они еще больше наговаривали на нас – пусть себе говорят до хрипоты. А когда они бы выговорились, вот тогда только я бы встал и сказал им спокойно и хладнокровно:

– Уже? Вы все сказали? Так, может быть, и мне будет позволено вымолвить слово? Если так, то я должен вам заявить, милостивые господа, что вы кругом правы, абсолютно правы, полностью правы. Давайте все перечислим по пунктам, пункт за пунктом, и вы убедитесь, что я вам во всем потакаю.

1. Вы твердите, что нас надо выгнать из деревень,\*\* потому что мы слишком трезвый народ. Верно, точно, справедливо, правильно на сто процентов! Мы действительно трезвый народ. Даже слишком трезвый! Вот возьмите, к примеру, село, где

---

\*Черносотенные депутаты Думы.

\*\*В 1913 году проводилось массовое изгнание евреев из сельских местностей даже в пределах пресловутой "черты оседлости".

живет три тысячи Иванов и один Янкель – так он обязательно трезвый. Всегда трезвый! Хоть кто-нибудь, скажем, раз в году, видел его валяющимся на дороге?.. Хоть кто-нибудь когда-нибудь слышал, как он матюгается? А о том, чтобы взять топор да из-за сущего пустяка раздробить другому голову – об этом не может быть и речи. Понятно, что такой человек очень опасен! Разве можно такого оставлять в деревне?..

2. Вы твердите, что нас надо начисто лишить всех источников заработка, потому что мы слишком умный народ. Мы можем из снега делать сырники, из рубля – трешку, и вам трудно с нами конкурировать. Верно, точно, справедливо, правильно на сто процентов! И понятно, что это большое несчастье, но кто виноват в этом, милостивые господа, кроме вас самих с вашими бесконечными ограничениями во всем, кроме торговли?

3. Вы твердите, что никуда нас не допускают именно потому, что мы чересчур способны и предприимчивы. Мы можем, говорите вы, за короткое время, упаси Боже, поставить вам лучших офицеров и генералов, отличных чиновников, директоров гимназий, следователей и прокуроров, губернаторов и министров, как и в других странах. Верно, точно, справедливо, правильно на сто процентов! Дай Бог, чтобы так оно и было, как еще очень долго этого не будет...

4. Вы твердите, что хотя вы нас никуда не пускаете и гоните отовсюду, выметаете из всех щелей, преследуете на каждом шагу и ежедневно придумываете все новые наветы и новые запреты, мы, тем не менее, еще существуем и, более того, – играем все большую роль. Богатейшие фабриканты, говорите вы, это наши, крупнейшие банкиры – тоже наши, видные экспортеры – опять-таки наши, а о спекулянтах на бирже и говорить не приходится. Кроме нас вы не встретите там ни одной дохлой собаки... Верно, точно, справедливо, правильно на сто процентов! Я говорю вашим же языком: так оно было, и так оно и будет. Это, милостивые господа, дело пропащее. И вы сами во всем виноваты, как я вам только что разъяснил.

5. Вы твердите, что даже в литературе и журналистике, а также в музыке и в театре мы занимаем у вас самое почетное

место. Верно, точно, справедливо, правильно на сто процентов! Может быть, и не самое почетное, но, во всяком случае, весьма почетное. Вот уж в этом вы никак не повинны. Это уж от Бога, и человек тут ничего не может поделать. Можно выгнать нищего еврея из деревни. Можно выбросить больную еврейку с ее жалким скарбом на улицу. Можно хитростью вырвать у другого последний кусок хлеба изо рта. Можно так мучить людей, что они побегут, как ошалелые, куда глаза глядят. Но вырвать у другого мозг из головы, голос из горла, перо из рук — это дело невозможное!..

6. Вы твердите, что наши дети слишком увлекаются вашим просвещением, и они так опережают ваших детей, что с ними не сравняться. Верно, точно, справедливо, правильно на сто процентов! Наши дети, помимо того, что у них голова варит, они еще очень упорные. Но это вы их сделали такими. Вы сами! И вот вы ищите сейчас средства и способы придержать их, изобретаете разные процентные нормы, жмете и давите, чтобы отовсюду их выставить... Разумеется, это хорошо придумано, и кто может, упаси Боже, иметь к вам претензии и говорить вам, что вы неправы?

Как с малыми детьми в гимназиях и со старшими в университетах, так со взрослыми на службе. Вы говорите, что всех нас надо выставить, и вы, разумеется, правы, ибо к чему, чтобы мы имели претензии и говорили: "Как же так? Налоги мы платим, солдат поставляем, почему же вы с нами обращаетесь, как с пасынками?" Но, с другой стороны, можно спросить: где же справедливость? Где человечность? Где же, наконец, Бог? — Но кто в наше время задает такие вопросы?..

Есть у вас еще одна претензия — № 7 — по поводу крови. Вы говорите, что мы убиваем ваших маленьких детей и употребляем их кровь на Пасху. Так вот, об этой вашей претензии поговорим лучше в другой раз. К чему нам, скажите на милость, валять дурака? Как говорил мой покойный учитель, царство ему небесное, когда наступал четверг и мы должны были ему пересказать все, что выучили за неделю, мы же ничего не знали, но все же начинали раскачиваться и напевать,\*

\*Библию и Талмуд обычно читали в школах нараспев.

чтобы он думал, что мы знаем. "Вы, сорванцы этакие, хорошо знаете, — говорил он, — что я знаю, что вы ничего не знаете, так на кой же ляд вы так распелись?..." Я хочу вам сказать его же словами: "Милостивые господа, вы же знаете, что я знаю, что вы знаете, что это блеф, так к чему эти сказки?.. Для того только, чтобы иметь какой-то предлог — и для своих, и для заграницы — говорить, что вы гоните нас и потому, что мы вдобавок дикари, с дикими языческими обрядами: "Представьте себе, — они еще употребляют кровь на Пасху!..."

А то, что весь мир знает нас раньше, ближе и лучше вашего? Это не имеет значения. Важно, чтобы шумело, гудело, вертелось, чтобы была какая-то видимость...

Короче говоря, милостивые господа, я, как видите, почти по всем пунктам признал вашу правоту. Теперь остается выяснить только одно: зачем мы вам нужны? Не лучше ли было бы для вас избавиться, да поскорей, от такой напасти? Вы только представляете себе, милостивые господа, какая жизнь у вас начнется, когда, однажды утром, проснувшись после сна, вы обнаружите, что не осталось ни одного еврея!.. Каким образом? Обратитесь, пожалуйста, ко мне, и я вам предложу комбинацию — простую и почетную. Все будет сделано по-хорошему, добровольно. К чему вам расстраиваться и огорчаться, иметь столько лишних хлопот и забот?

Попробуйте объявить во всех синагогах и молельнях, что каждый еврей, желающий выехать, может ехать подобра-поздорову. Ему будет выдан бесплатный железнодорожный билет 3-го класса до самой границы, да еще мелочишка на расходы — по сотне на брата...

А теперь, милостивые господа, сделаем небольшой подсчет. Прикинем, во что это вам обойдется, так сказать, на круг. Сущие пустяки! Железную дорогу можно не считать — это же ваша собственность. Остается мелочишка на карманные расходы. Так о чем же речь? Помножим шесть миллионов евреев на сто рублей и получим шестьсот миллионов рублей. До миллиарда не хватает целых четыреста миллионов. Так неужели не стоит потратить хотя бы миллиард, чтобы избавиться от такой,



чтобы не сглазить, оравы? Прикиньте все как следует, милостивые господа, я даю вам целый год на размышления...

Вот так, дорогая супруга, я поговорил бы с ними, если бы я был депутатом. Так ты, вероятно, спросишь, что будет, если моя комбинация им понравится и они примут мой проект? Куда мы все подеваемся?..

Тот же вопрос, представь себе, задал мне Хаскл Котик.\* У этого человека такая вредная привычка — все время задавать вопросы и по каждому поводу пререкаться. Что бы я ему ни сказал, он все перевернет по-своему!

Я пришел к нему и рассказал о своем плане, все честь по чести, как положено. Так он не дал мне договорить до конца и начал переспрашивать. "Что будет, во-первых, если они, — говорит он, — вовсе не захотят нас выпустить? Во-вторых, может быть, сами евреи, — говорит он, — не захотят уехать? В-третьих, если даже обе стороны будут согласны — где взять, — говорит он, — столько денег, столько вагонов и столько провианта и всего прочего, чтобы хватило, — говорит он, — переселить, чтоб не сглазить, шесть миллионов человек?" И еще, и еще, вопрос за вопросом, как из дырявого мешка!

Так я нарочно дал ему высказаться — если человеку хочется поговорить, почему ему не оказать такой любезности? И он говорил, и говорил, и говорил. А когда он кончил, я заговорил и ответил ему по порядку на все его вопросы. И разбил в пух и в прах все его доводы, как только я умею!

Увидев, что дело швах, он придумал такую заковыку: "А что будет, скажите мне, реб Менахем-Мендл, если надо будет, — говорит он, — устроить погром? Не теперь, — говорит он, — а много позже, скажем, этак лет через сто. Где тогда возьмут евреев?"

Я говорю ему: "Если вы придумали это просто зацепки ради, — говорю я, — то, пожалуйста, я не возражаю, хотя, между нами говоря, можно было придумать что-нибудь более солидное. Но, если — говорю я, — вы думаете об этом всерьез,

---

\* Лицо реальное, содержатель литературного кафе в Варшаве, в котором обычно собирались еврейские писатели, журналисты, актеры и художники.

то и тут можно найти выход из положения. Так как, – говорю я, – в последнее время взялись за наших выкрестов и хотят их слегка сравнять с нами, то они тоже, – говорю я, – начинают понемногу чувствовать вкус процентной нормы и всего прочего... И так как, – говорю я, – они-то ведь останутся, то можно будет, – говорю я, – в случае нужды, когда надо будет устроить погром, вполне обойтись одними выкрестами... Вы удовлетворены, – говорю я, – или еще не совсем?”

Он на минуту угомонился, а потом сказал: ”Шуточки в сторону, уважаемый Менахем-Мендл. Давайте-ка, – говорит он, – начнем рассуждать с самого начала...”

И снова забросал меня своими вопросами...

Тут уж я не выдержал и сказал ему:

– Сколько раз я просил вас, – говорю я, – реб Хаскл, чтобы вы о таких вещах больше со мной не разговаривали!

Тогда-то он и спрашивает меня: ”А кто к кому пришел – я к вам или вы ко мне?”

Да еще посматривает с этакой хитрой ухмылкой... До чего въедливый тип!

Но не на такого напал! Я задал ему такую порцию, что он надолго запомнит!

Говоря по совести, я должен был бы тебе подробно описать все, что я ему сказал, и ты, поверь мне, получила бы удовольствие. Но так как у меня нет времени, я сокращаюсь. С Божьей помощью, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. А сейчас пусть Бог даст, чтобы все шло хорошо и удачно. Будь здорова и поцелуй деток, пусть они будут здоровы. Кланяйся теще, пусть она будет здорова. Всей семье и каждому в отдельности передай мои самые сердечные приветы.

*Твой супруг Менахем-Мендл.*

# коротко о книгах

## НОВЫЙ ПЕРЕВОД ТОРЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Вышел в свет новый перевод Пятикнижия – “Пять книг Торы”. Текст сверен с рукописью и масорой Кэтэр Арам Цовы и сходных с ней рукописей Мордыхаем Броером. Русский перевод Давида Иосифона” (Мосад Арав Кук. Йерушалаим, 1975 г.). Это первая часть нового перевода Библии на русский язык, осуществляемого в институте им. раввина Кука коллективом под руководством рабби Давида Иосифона. Работа сотрудников института Кука, по вполне понятным причинам, привлекла внимание широкой общественности и вызвала оживленную дискуссию.

Причины, побудившие к созданию нового перевода, а также принципы, положенные в его основу, следующим образом изложены министром религий Ицхаком Рафаэлем в предисловии к книге:

”...Те из них (новых иммигрантов), кому посчастливилось видеть и читать его (Танах), пользовались чаще всего устаревшим русским переводом, малопонятным современному читателю, сделанным христианами, намеренно или по невежеству во многом искажившими и его содержание и суть\* ...Ведь по сей день не было еще полного перевода на русский язык всего Танаха, который был бы сделан евреями: переведены лишь отдельные его книги. Сделанный О. Штейнбергом перевод Торы и нескольких книг первых пророков\*\* считается в основном верным, но и он, к сожалению, не лишен недостатков, вслед за христианскими переводчиками в нем были искажены до неузнаваемости названия местностей и собственные имена, есть погрешности и искажения и в содержании. Сделанный около ста лет назад этот перевод, как и другие, изданные до и после него христианами, изобилуют устаревшими и малопонятными выражениями, не употребляющимися в современном языке. Поэтому ... настоящий перевод был сделан более современным и понятным языком...”

---

\* Имеется в виду осуществленный 100 лет назад т. н. ”синодальный” перевод Библии, широко распространенный в России.

\*\* Имеется в виду перевод с комментариями инспектора Виленского еврейского учительского института Штейнберга, сделанный в Вильне в 1914 г. для нужд преподавания в еврейских учебных заведениях.

Высказывания г-на Рафаэля дополняет руководитель коллектива переводчиков рабби Иосифон:

Недостаток перевода Штейнберга не только в том, что он использует старую русскую орфографию, чуждую современному читателю и затрудняющую чтение. Гораздо существеннее тот факт, что перевод обладает серьезными недостатками в истолковании текста Танаха... В книге "Бымидбар" говорится, что назир, т. е. человек, посвятивший себя Господу, не может есть виноград – от кожицы до косточек. Даже синодальный перевод, далекий от соответствия еврейскому оригиналу, дает верное толкование этого стиха. Штейнберг же ... писал: "Все дни отречения своего ничего, что приготовлено из винограда, из острых или прозрачных, ему не есть" ... Второй пример. "В пустыне при постройке скинии евреи пользовались шкурой тахана". Мы не знаем, что это за животное... Штейнберг произвольно переводит "тахан" словом "сайга". Третий пример. В книге "Ваикра" говорится о жребиях, выпавших на двух козлов, – один из них приносится в жертву Господу, другой должен быть изгнан в пустыню, к обрыву Азazel, для искупления грехов народа. Штейнберг же пишет: "И наложит Аарон на обоих козлов жребий: жребий один для Господа, а жребий другой для Азazelа". Из двух толкований слова "Азazel" (страшный обрыв и рогатое египетское животное-божество) он избирает именно второе: Азazel-идол и делает утверждение, что евреи приносили одновременно две жертвы: для Господа и для Азazelа, т. е. для идола.

Авторы синодального перевода слово "менури́м" переводят, как "странствование", в то время как на самом деле оно имеет прямо противоположный смысл: "проживание"; слово "шила" переводят как "Примиритель" и относят к Иисусу – и т. д.

Основные возражения противников нового перевода вызвало, однако, не это, заслуживающее полного одобрения, стремление коллектива рабби Иосифона к уточнению священного текста Танаха, а положенная в основу работы принципиальная установка на передачу фонетических особенностей иврита русскими буквами. При этом сами фонетические особенности понимаются переводчиками, как считают оппоненты, весьма произвольно, в противоречии с установившимися традицион-

ными нормами. Эту установку рабби Иосифон характеризует следующим образом:

В своей работе мы руководствовались принципиальной установкой – исправить бесчисленные искажения в написании имен собственных, чтобы выходец из России сумел произнести их в соответствии с законами фонетики языка иврит, т. е. так, как эти слова произносились на протяжении всей еврейской истории. Имя старейшего в мире человека было Мыгушелах, а не Мафусаил, и Тэрах, отец Авраама, – не Фарра, Итро, тесть Моше, – это не Иффор, а наш город Йерушалаим – это не Иерусалим... Вместо "шва" мы внесли букву "ы", которая по звучанию максимально приближается к этому звуку...

Отметим, однако, что в наиболее авторитетных современных изданиях на русском языке принята иная установка, резко расходящаяся с установкой коллектива переводчиков Танаха.

Так, в весьма употребительном в настоящее время в Израиле словаре Шапиро, вобравшем данные известнейших словарей израильских ученых Эвен Шошана, Меира Медана и Керена, указывается: "Шва произносится как весьма беглый краткий звук неопределенного качества, близкий к весьма краткому "э". В середине слова ставится в качестве слогораздела".

Во вступительных замечаниях к "Краткой еврейской энциклопедии", вышедшей в настоящее время в русской секции Института научных переводов под редакцией проф. М. Занда и писателя-переводчика И. Орена, говорится:

"Имена действующих лиц Библии даются в их ивритской форме, за исключением нескольких имен, традиция русской передачи которых продолжает сохранять свою стойкость в русском языке нашего времени. В транскрипции с иврита даются и географические понятия в Израиле, за исключением лишь весьма немногих, русская традиционная передача которых прочно закрепилась. Транскрипция ивритских и арамейских слов, имен собственных, названий сочинений на иврите дается в максимально возможном для русской графики (без дополнительных знаков) приближении к современному общеизраильскому произношению... Звук "шва" передается как редуцированное "е", "алеф" обозначается апострофом, если имеет слогчленящее значение..."

Установка сотрудников института Кука привела к появлению ряда имен и названий, находящихся в прямом противоречии с намерениями переводчиков: вместо приближения к современному русскому языку и облегчения для русского читателя возникло нарушение норм благозвучности языка и затруднение для русского слуха и чтения; в ряде мест эти новации производят, скорее, комическое впечатление, на которое уж явно не рассчитывали переводчики и которое противоречит всему нашему отношению к тексту Торы. Однако самым важным возражением является, по-видимому, возражение, связанное с понятием культурной традиции, о которой упоминают редакторы "Краткой еврейской энциклопедии". Действительно, всякий новый перевод должен считаться не только с вполне понятным стремлением к пуристской точности, но и с установившимися традициями, в противном случае он рискует быть отвергнутым именно на основании традиционных представлений, образующих костяк культуры данного языка. Это особенно существенно в случае таких основополагающих для культуры текстов, как текст Библии. Вряд ли русский читатель с особым восторгом примет такие новообразования, которыми испещрены страницы нового перевода, как: Хавва (Ева), Эйдэн (Эдем), Эвэль (Авель), Шэйт (Сиф), Шэйм (Хам), Ноах (Ной), Кынаан (Ханаан), Бавэл (Вавилон), Нинывэй (Ниневия), Пылиштим (Филистимляне), Сыдом (Содом), Паро (фараон), Даммэсэк (Дамаск), Эйсав, Исразйль, Йосэйф и т. д.

Отрицательная оценка нового перевода Танаха дается в отзыве проф. Брановера — главы религиозного издательства "Шамир" и гл. переводчицей журнала "Возрождение" Г. Липш:

Несомненно, что новый перевод Торы на русский язык, выполненный под руководством г-на Иосифона, претендует быть авторитетом в последней инстанции, исправить ошибки всех предшествующих ему переводов и представить собой последнее слово переводческого дела в Израиле. Последнее представляется особенно огорчительным, ибо перевод, сделанный на искаженном русском языке, никак не приближает русскоязычного читателя к священному тексту Торы, а несомненно

своей странностью отчуждает от него, вследствие чего создается также совершенно превратное представление об уровне переводов на русский язык в Израиле.

Вот несколько наугад взятых примеров неточности перевода в содержательном смысле... Переведено "вдунул в ноздри его дыхание жизни" ... правильно было бы перевести "вдохнул". В одном случае выражение переведено как "дерево хорошо для еды", в другом то же выражение переводится как "дерево, годное в пищу"; "сорванный оливковый лист" – в оригинале нет "сорванный"... "Сара внутренне рассмеялась" – слишком современное выражение, не звучит в контексте... "Судьба общечеловеческая" – тоже очень современно. "Боже духов всех людей" – нехорошо. И тому подобное.

Непонятно также, почему названия Книг, откуда взяты эти примеры, звучат как "Бырэйшит", "Бы-мидбар"...

Развернутую критику нового перевода дает проф. кафедры истории древней еврейской философии Шломо Пинес:

Я внимательно сравнил новый перевод Пятикнижия с переводом Штейнберга и убедился, что в основу новой работы, безусловно, положена старая: именно этот Штейнберговский перевод. Те места, которые были неудачно переведены в 1914 г., такими же остались в 1975 г., например, начальные главы Книги Бытия. Но огорчительнее, что удачные обороты и фразы перевода Штейнберга весьма часто заменяются новыми и крайне неудачными. Вот пример из нового перевода: "И сказали повитухи Паро: ведь не как женщины египетские Ивриот так здоровы они, что прежде, нежели придет к ним повитуха, они рожают. И Бог делал добро повитухам..." "Паро", "Ивриот", "Бог делал добро повитухам" – странное соединение слов из совершенно разных лексических пластов: тут и попытка русскими буквами передать звучание слов на иврите, и христианские ассоциации, и простонародная лексика".

Аналогичный отзыв направил в Министерство Религии проф. Иерусалимского университета Менахем Харан, переводчик традиционных и религиозных текстов на иностранные языки:

Перевод г-на Иосифона не вносит ничего принципиально нового в два уже имеющихся. Создается впечат-

## НОВЫЙ ПЕРЕВОД ТОРЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

ление, что коллектив переводчиков видел пред собой, в первую очередь, именно традиционный русский текст. Зависимость от него обусловила отсутствие принципиально нового метода перевода и привела лишь к подновлению и исправлению старых русских текстов. Причем исправления эти зачастую являлись ухудшениями уже имеющегося, ибо возникали на основе искажения грамматического строя русской речи... Второй недостаток – это в высшей степени странная и необъяснимая фонетическая транскрипция целого ряда имен собственных.

Таким образом, мнение всех без исключения рецензентов сводится к тому, что новый перевод, созданный без консультации со специалистами, в узкокейном порядке и на основе ошибочных принципиальных установок, является, скорее, шагом назад от поставленной коллективом задачи. Это заключение тем более огорчительно, что, как нам известно, коллектив переводчиков института Кука продолжает работу над переводом других Книг Танаха, сохраняя прежние методологические принципы.

**Н. Р.**



## ועידת בריסל ב'

- הצהרה . . . . . 3  
פניית יהודי בריה"מ . . . . . 6  
ל.ריינס - מכתב לוועידה . . . . . 10  
פנייה של קרובי אסירי ציון . . . . . 11  
א. וורונל - נאום בוועידה . . . . . 13  
פנייה של אנשי דת נוצרים . . . . . 22  
ו. פולסקי - הרהורים על עליה . . . . . 24  
תזכיר של ציוני רוסיה . . . . . 30

## פרוזה

- יז'י אנדז'ייבסקי - שבוע של פסחא. רומן.  
40 . . . . . תרגום מפולנית  
78 . . . . . יולי מרגולין - גליה. ספור . . . . .  
93 . . . . . צבי לוז - אחים. ספור. תרגום מעברית . . . . .  
ש. מרקיש - מבלי לעצום עיניים. (על  
יצירתו של א. סולז'ניצין) . . . . . 103

## אדמותינו

- י. דן - "היתקיים העם היהודי במאה  
ה-21?" תרגום מעברית . . . . . 131  
ע. דיאמנט - לאן מועדות פניך . . . . . 139  
א. רוברין - תרבות הספר ברוסית ועליה . . . . . 150

## יציאת רוסיה

- נ. אלשנסקי - לזכר יפים דודוביץ' . . . . . 160  
מכתבים של אסירי ציון . . . . . 163  
א. וויטובצקי - חברה לשם למלכת בריטניה.  
169 . . . . . ספור

## יובל לדוד ולהרצל באזוב

- הרצל באזוב - פטחאין. פרקים מרומן.  
189 . . . . . תרגום מגרוזינית

## לשנה ה-60 למותו של שלום עליכם

- א. בלוב - הקלטיקון הלא-נאמן . . . . . 209  
ש. עליכם - אילו הייתי חבר הדומה  
212 . . . . . (תרגום מאידיש)

## בקצור על ספרים

- 218 . . . . . תרגום חדש לרוסית של התורה

Цена 8 л.